Владимир
РЕЦЕПТЕР

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЯПОНИИ

ВАГРИУС

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Владимир Рецептер - необычайно разносторонняя личность: актер, чья творческая биография долго была связана с БДТ и его великим создателем Г.А.Товстоноговым, режиссер, поэт, литературовед-пушкинист. И автор интересной художественной прозы о театре, где герои (всем известные, действующие и под своими собственными, и под вымышленными именами) живут, не различая, где `кончается искусство`, а где начинается `почва и судьба`. Театр дает неисчерпаемый материал для писателя: страсти и интриги, амбиции и неудачи, дружба и предательство, любовь и ненависть, зависть к таланту и искреннее благоговение перед ним... Здесь все, как в жизни, но более ярко, выпукло - ведь `театр - не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло`.

- Рецептер Владимир
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24

Рецептер Владимир
Ностальгия по Японии
Гастрольный роман

Разве Луна не та?
Разве ныне весна иная,
Чем в былые года?
Но где же былое? Лишь я
Вернулся все тот же, прежний.
Аривара-но Нарихира
в переводе Веры Марковой

1

Ностальгия по Японии возникла разом у всех, как только стало известно, что вопрос о гастролях практически решен. И пока в главном кабинете обсуждалось, какие именно спектакли должны произвести наилучшее впечатление на японцев, за кулисами возникла особая атмосфера ожидания, тревог и надежд.

Разумеется, были в театре корифеи, которые знали, что поедут при всех обстоятельствах; их заботили вопросы личной подготовки. Были такие, кому поездка наверняка не маячила; в их скорбные души я боюсь заглядывать. Типовое волнение охватило "средний класс", тех, чье свидание с видом на Фудзияму зависело от самого простого: занятости в спектакле, который поедет. Таких было много, и к ним принадлежал я. На Хонсю и Хоккайдо, а тем более на Сикоку и Кюсю попасть очень хотелось.

В один из определяющих дней у доски с расписанием спектаклей я встретил артиста Михаила Данилова.

- Привет, Миша! - бодро сказал я.

- Привет, Володя! - весело откликнулся он.

Миша - один из счастливчиков, что-что, а уж "История лошади" не может не поехать, и сведений у Данилова больше, чем у меня.

- Ну, как, учишь японский? - Это моя завистливая шутка, которую Миша должен подхватить.

- Учу, конечно. Но есть трудности...

- Какие же именно? - теперь подыгрываю я.

- Слишком много иероглифов!..

- Что делать, Миша, надо напрячься, речь идет о взаимовлиянии древнейших культур, - сочувствую я.

- А пропаганда метода Станиславского?! - развивает мысль мой славный коллега.

Данилов - интеллигент. Он влюблен в Гоголя и держит в уме целые страницы "Мертвых душ". Из горячительных напитков, завязав однажды и навсегда, пьет только крепчайшие чаи и кофе. Курит не только сигареты, но и трубки и сам режет их из вишневых корней. Миша невысок, плотен и во все времена года, даже в жару, носит беспримерной прочности ботинки на толстой подошве. Важно сказать, что Данилов - отменный фотограф, и у меня создалось впечатление, возможно, ошибочное, что из каждой зарубежной поездки он привозит если не фотокамеры, то объективы, фильтры, футляры, штативы, увеличители, бинокли и сотни репортажных снимков, на которых мы выглядим такими, как есть, а не такими, какими хотим казаться.

- Миша, если я спрошу, как по-японски "вишня"...

- Я от тебя не скрою, что "вишня" по-японски - "сакура"...

- А если я захочу узнать, как по-японски "капеесес"...

- Я отвечу тебе, что по-японски "капеесес" значит "векапебе".

Кроме нас у расписаниия никого нет, и разговор носит свободный характер.

- Миша, в Токио у тебя будет заслуженный успех!

- Разумеется, Володя. А на крайний случай у меня есть еще одна надежда...

- Какая, если не секрет?

- Это, конечно, секрет, но тебе я скажу: у нас с Гогой будет свой переводчик.

В детстве нашего Мастера, Г.А. Товстоногова, звали Гогой, и это уменьшительно-ласкательное имя сохранилось на всю жизнь для домашних и близких друзей; об этом знал не только весь город, но и весь театральный мир, и наши артисты, которые к Георгию Александровичу так никогда не обращались, в разговорах между собой пользовались тем же, будто бы сокращающим дистанцию, именем.

- Вчера японец смотрел "Лошадь", - сообщает между тем Миша, - а завтра смотрит "Ревизора".

- Вот оно что, - говорю я, - к нам приехал...

- Менеджо'р, - заканчивает фразу Миша, делая ударение на последнем слоге. - На нас он может погореть, но ему обещают цирк. А цирк, как ты понимаешь, покроет все убытки...

Теперь я набит сведениями, остается задать главный вопрос.

- А ты не знаешь, "Мещан" этот японец будет смотреть? - "Мещане" - моя главная надежда.

Миша вздыхает.

- Нет, Володя, должен тебя огорчить, по моим данным, "Мещане" в Японию не едут...

Короткую паузу называют в театре "цезурой", и, помимо моего желания, она возникает в нашем разговоре. Взяв себя в руки, я спрашиваю:

- Ну, а что едет еще?..

- Еще едет "Амадей", - говорит Миша, глядя на меня с искренним сочувствием...

Я не сторонник "Амадея", и он это знает. На мой взгляд, это - наша репертуарная ошибка. На мой ревнивый взгляд, грешно ставить историю Моцарта и Сальери в изложении модного Шеффера, когда у нас есть гениальная трагедия Пушкина. Тем более что англичанин в нее заглядывал и, по мне, ничего не понял. Шеффера поставит кто угодно, а таких "Мещан", как у нас, не сделает никто...

- Ну, если смотреть с этой точки зрения, - задумчиво говорит Данилов.

- А с какой же еще? - капризно перебиваю я, окончательно теряя юмор.

И тогда, склоняя меня к разумной объективности, Миша говорит:

- Однако костюмы в спектакле красивые. Очень. С этим ты не можешь не согласиться.

И, выдержав еще одну цезуру, я соглашаюсь.

- Да, Миша. В этом ты прав. Костюмы выглядят красиво...

Поняв, что страна восходящего солнца мне больше не светит, я начал соображать направление своих автономных гастролей по городам и весям нашей необъятной родины. Слава Богу, такая возможность в запасе у меня была.

Переговоры с администраторами шли к успешному концу, как вдруг открылись новые обстоятельства: снова заболел Григорий Гай, в Японию его не берут, и предстоит срочный ввод в спектакль "Амадей". Времени остается мало, костюм сложен и дорог, и руководство театра ищет артиста, которому пришлись бы впору камзол и штаны широкогрудого приземистого Гая.

Нужно сказать, что для поездок за границу состав счастливых спектаклей всегда немного корректировался либо из-за так называемых невыездных, либо ради простого сокращения общего числа едущих. В таких случаях даже на скромные роли могли быть назначены артисты ведущего положения. А что касается массовых сцен, то были в нашей гастрольной практике звездные эпизоды, когда на какой-нибудь революционный митинг, подобрав одежонку поскромней, выходили статистами и Лебедев со Стржельчиком, и Шарко с Эммой Поповой, и другие прославленные мастера, радуя и веселя своим появлением привычное народонаселение массовки...

И вот, смиренно настроившись на уральский маршрут, я вдруг узнал, что первым кандидатом на замену Гая в спектакле "Амадей" назначен именно Рецептер. Здесь, конечно, сказались прежде всего интересы дела, но нельзя было также исключить доброго отношения именно к нему, так как эта поездка являлась бесспорным поощрением каждого участника. И не только моральным: суточные в валюте не шли ни в какое сравнение с домашним жалованьем. А тут - сорок дней в Японии!..

Однако вместо бурной радости в моей неблагодарной душе возникла смута, и на то было несколько причин.

Во-первых, с Гаем я давно и преданно дружил и в случае такой замены становился по отношению к нему невольным злодеем.

Во-вторых, я не скрывал, что к пьесе Шеффера отношусь с негативной пристрастностью, и теперь входить в спектакль "Амадей" значило поступаться чем-то глубоко принципиальным...

А в-третьих, сама ситуация казалась мне, будущему отщепенцу, просто унизительной: не роль примерялась к артисту, и не артист - к роли, а фигура к костюму!..

Все так...

Но, подумав, ситуацию можно было рассмотреть и с другой точки зрения...

Разве самому Гоге не жаль заменять Гая?! Он-то с ним дружит подольше моего. Ведь это - болезнь, несчастье, злая воля судьбы, а не каприз, не произвол отношений...

И разве не существуют на театре элементарная дисциплина, производственная необходимость?

Разве его величество Театр не выше каждого из нас?..

К тому же есть общее мнение актерской братии, согласно которому я должен не "возникать", то есть не капризничать, а выполнять свой прямой долг и благодарить судьбу и лично Георгия Александровича за удачный для меня выбор...

Существует, наконец, единственная в жизни возможность своими глазами увидеть по меньшей мере Сикоку и Кюсю.

И вот меня, отуманенного сомнениями, конвоем ведут на свидание с Гришиным костюмом. Справа - Таня Руданова, заведующая костюмерным цехом, высокая и решительная молодая женщина, прошедшая трудный путь от робкой одевальщицы до ответственного руководителя важного подразделения; а слева - Юра Аксенов, режиссер и помощник Г.А. Товстоногова, по слухам, уже назначенный главным режиссером Академического театра Комедии и, в порядке последнего поощрения у нас, едущий в Японию. Оба они призваны всмотреться в сочетание костюма с кандидатом на его ношение и доложить Мэтру, насколько это соединение пристойно. Итак, мы поднимаемся по лестнице, и мое нервное напряжение растет...

А вот и костюмчик на распялке, вот и дармовой билет до Японии и обратно...

Стоит мне сейчас подобрать кисти и приподнять плечевые суставы, тем самым укоротив руки; стоит, несколько раздувшись, увеличить объем грудной клетки и изящно сгруппироваться, внедряя себя в штаны и камзол, - и вот она, древняя островная империя! Разве Токио, как и Париж, не стоит мессы?! И разве я не артист прежде всего?

Настоящий артист должен становиться крупней или меньше ростом, соответствуя выпавшей роли. Нужно только призвать на помощь всю силу воображения и войти в Гришину мерку, как в

предлагаемые обстоятельства собственной жизни. Ну, Рецептер, давай, не стесняйся! Вот и Юра Аксенов, со своей непроходящей улыбкой, подтверждает: "А что? А ничего...". Вот и Таня Руданова делает ласковые стежки на моей биографии путешественника: "Тут немного заузим, тут немного отпустим"... Конечно, они желают мне только добра!..

И вдруг, помимо желания и умысла, абсолютно вопреки складывающемуся намерению, мое тело и, очевидно, заключенная в нем душа бесконтрольно и пугающе неожиданно выдают неуправляемую реакцию. Артист Р. вытягивается во весь рост и воздевает вверх руки, отчего камзол взлетает до пупа, а рукава задираются до локтей, по-клоунски раскорячивает колени и в отчаянье кричит своим доброжелательным конвоирам:

- Да вы что, ребята? С ума вы посходили! Не могу же я... во всем этом выходить на сцену!.. Все!.. Снимаю!.. Скажите Гоге, что мы честно мерили и у нас ничего не вышло!.. Таня, ты же видишь?.. Юра!.. Только не улыбайся!.. И не говори ему, что Рецептер не хочет!.. Скажи, как есть: костюм не подходит!..

И Юра улыбается мне в ответ многозначительной улыбкой придворного. Я весь в его руках.

На другой день в костюм Гая удачно помещается артист Валерий Караваев, который все равно едет в Японию в "лошадином табуне", т.е. в "Истории лошади", а я получаю своего "дурака" от каждого, до кого доходит история моей примерки.

Ну, конечно, дурак. Дурак в своем репертуаре!.. А я и не спорю. Я сам себя ругаю дураком...

Я даже много лет играл роль дурака-правдолюбца в пьесе Л. Жуховицкого "Выпьем за Колумба!", героями которой были трое друзей-биологов. Роль гения играл Олег Борисов. Роль карьериста - Олег Басилашвили. А роль дурака - я. Такое было распределение. Однажды на репетиции что-то не заладилось, принялись выяснять, почему, и вот, в пылу творческого спора, Басилашвили, между прочим, замечает:

- Понимаете, Георгий Александрович, я называю его дураком, а он не реагирует...

Товстоногов поворачивается ко мне и говорит:

- Володя, почему вы не реагируете, когда Олег называет вас дураком? Ведь это же оскорбление!

А я отвечаю:

- Георгий Александрович! Ну какое это в России оскорбление? Это героизация: дурак, идиот, юродивый, сумасшедший... А в нашем случае - просто текст, потому что по действию Олег меня никак не оскорбил.

Тогда Товстоногов поворачивается к Басилашвили и говорит

ему:

- Олег! Володя прав! Вы говорите текст безо всякого оскорбления!.. Попытайтесь его оскорбить!..

И вот я сам пытаюсь себя оскорбить, но действую вяло, потому что поезд ушел, то есть списки составлены, и на собеседование к старым большевикам мне в райком не надо... И то хорошо...

Но если сознаться честно, на душе у меня - очень нехорошо...

Во время таких головокружительных гастролей оставшиеся дома начинают комплексовать и чувствовать себя вторым сортом. А что может быть в театре ужаснее этого?

И бессонными ночами артист Р. тайно возвращается к сцене примерки и грызет себя за мерзкую распущенность и неумение собой владеть.

- Кто ты такой? - задает он себе бессмертный вопрос Паниковского и свирепо отвечает: - Высокомерный, провинциальный, жалкий премьер! Костюм на тебя мал?.. Врешь!.. Не костюм, а роль для тебя мала, а ты, Гамле't несчастный, хочешь играть только большие роли!.. Бесстыжий каботинец!.. Вся ситуация глупа, а ты в ней - глупее глупого! И все потому, что тебе смерть как хочется в Японию, и ты как огня боишься какой-нибудь своей внезапной подлости...

Но проходит темная ночь, и ясным днем начинаешь настраивать себя на другой лад, и в ушах звучит уже другой моноложек:

- Прощай, страна восходящего солнца! Прощайте, гейши в тонких кимоно! Нам не суждено узнать друг друга!.. Я поеду в Челябинск, я повидаю Свердловск и Нижний Тагил, и нежные тагильчанки будут улыбаться одному мне... Чем Урал хуже Японии?.. Пусть мне это объяснят наши патриоты!..

Вот каким изворотливым может быть сознание уязвленного артиста. Но бодрости оно не прибавляет, и к вечеру он начинает понимать, что еще не достиг пределов самоедства.

- Что Гришин костюм, - объясняет он себе самому. - Давно пора надеть должную форму и беззаветно встроить себя в систему любимого театра. Так же, как театр, с помощью политкостюмеров, встраивает себя в систему нашей великой страны. Разве Товстоногову легко снимать "Римскую комедию" Зорина и рядить сцену по "юбилейно-датской" моде? И пора честно признаться, что домашние вольнодумцы потому и позволяют себе смелые фразы и свободные жесты, что их прикрывает Георгий Товстоногов, оставляя за собой тесный костюм компромисса... Компромисс - вот знамя эпохи, а значит, и твое!.. Вспомни слова потерпевших и понимающих время людей...

И я вспомнил, как однажды на галечном пляже санатория "Актер" в городе Сочи Сережа Юрский, успевший переехать в Москву, рассказал мне подробности своего разрыва и ухода, те, которых я еще не знал, и с горькой иронией опального мудреца заметил на мой счет:

- Будь всем доволен, и все будут довольны тобой... И никто тебя не обидит ни в городе, ни в театре...

Конечно, он, как Чацкий Чацкому, объяснял мне один из дьявольских законов театра, который постиг на своем мучительном опыте, а не советовал перейти в Молчалины и стать подлецом...

Но не успел я додумать до конца парадоксы неистощимой действительности, как грянула еще одна новость.

Снова мы стоим у расписания с Даниловым, и он говорит.

- Володя, по-моему, ты этого еще не знаешь...

- Миша, по-моему, я не знаю ни того, ни этого...

- Так вот, только не падай... Вместо "Амадея" в Японию едут "Мещане". Фантастика!

- Миша, скажу тебе, как Станиславский: "Не верю!".

- Честное пионерское, Володя!.. Спроси у Дины!.. - он имеет в виду нашего легендарного завлита Д.М. Шварц. - Или подымись к Гоге, он сам тебе скажет!..

Миша от души рад и за меня, и за театр: он высоко ценит наших "Мещан".

- Понимаешь, Володя, нам не хватает современной пьесы для пропаганды среди японцев советского образа жизни. Но поскольку Горький - великий пролетарский писатель, чье имя носит наш первый советский театр...

- Мы будем пропагандировать мещанский образ жизни... - прерываю я, а он завершает:

- Как самый наисоветский!..

- Браво, Данилов! - искренне восклицаю я, а он повторяет любимое словцо:

- Фантастика!

Такова судьба и ее вольнодумная прихоть. Такова незаслуженная награда.

Я еду в Японию, еду! Не вместо кого-то, а сам по себе. Не в костюме с чужого плеча, а в своем. Я выйду на сцену Петрушей Бессеменовым в ношеной косоворотке, старых штанах и потертом студенческом кителе. Моему костюму, как и спектаклю "Мещане", чуть ли не двадцать лет!..

"Я личность!.. Личность свободна!" - брошу я новенький текст в глаза верноподданным дряхлого микадо!..

Я сорву с побежденных японцев свою толику

аплодисментов!..

2

"Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Буквально накануне отъезда мне снова предложили натянуть пиджачок с чужого плеча. На этот раз мы проходили "примерку" вместе с Владиславом Стржельчиком.

Дело было так. Второго сентября в одиннадцать тридцать на Малой сцене открылось общее собрание отъезжающих. Боясь что-нибудь упустить и напортачить, а может быть, подсознательно предчувствуя рождение гастрольного романа, я решил занести в тетрадь таможенные инструкции и общие предписания.

Директор театра Геннадий Иванович Суханов, бывший оперный певец, мужчина высокого роста, вальяжный и улыбчивый, начал с международной обстановки.

- Уважаемые товарищи, - сказал он торжественным тенором, - конечно, вы опытный, испытанный коллектив, сознательные люди. Но никогда прежде мы не выезжали за рубеж в столь напряженной ситуации и в такую сложную страну. А большой опыт усыпляет... На этот раз нам предстоит серьезное испытание. Я не имею в виду сейсмические вещи... Хотя от вулканов тоже можно ожидать неожиданностей. Дело в том, товарищи, - тут Суханов перешел на баритон, - что правящая партия Японии ведет себя не так, как хотелось бы...

По правде сказать, я не знал, чего мне хотелось от правящей партии Японии, а Геннадий Иванович дипломатично не сообщил этого впрямую, но явно дал понять, что высокая вежливость японцев не должна обмануть нашу проницательность.

На этом тревожном фоне и были даны "уточнения по еде". Мы имели право взять с собой по две палки копченой колбасы, не более десяти банок консервов, три-пять пачек чаю, двести граммов или банку растворимого кофе, триста граммов икры, черной или красной, хрустящие хлебцы, а также по полтора блока сигарет и две бутылки водки. Таможня в Находке характеризовалась как очень строгая, но если наши "звезды" возьмут с собой свои фотографии для подарков и сделают на них сердечные надписи в адрес тружеников проверки, то весь коллектив может надеяться на таможенную снисходительность. (Смех, возгласы одобрения, аплодисменты.) Хотя муку, крупу, хлеб и полуфабрикаты даже "звездам" брать с собой категорически не следует...

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что все эти дозволенные яства нужно было еще, что называется, "достать", потому что на общедоступных прилавках

всего вышеперечисленного не было или почти не было. Один из моих друзей справедливо советовал развернуть историческую тему добывания продуктов, и я, благодарно приняв совет, чуть позже непременно им воспользуюсь, но пока, дабы не тормозить действие, обязан вернуться на собрание.

После директора взяла слово едущая руководителем гастролей Анта Антоновна Журавлева, в сфере культуры женщина историческая и бессменная, в те поры секретарь областного (или городского?) комитета партии, а некоторые говорят, что не секретарь, а заведующая отделом или генеральный инструктор...

Здесь знатоки могут мне возразить в том смысле, что никаких "генеральных инструкторов" ни в обкоме, ни в горкоме не было и быть не могло, а был всего лишь один-единственный и незабвенный Генеральный секретарь. Но если хорошенько вдуматься, эпитет "генеральный" должен был произойти не иначе как от слова "генерал", а поскольку партия у нас была всего одна и всем руководила ("руководящая и направляющая сила эпохи"), то любой ее инструктор, выйдя за порог своего штаба, тотчас начинал чувствовать свою избранную роль и генеральское положение. И, конечно же, все остальные, то есть те, кто не имел счастья служить в обкомгоркомрайкоме, понимали себя по отношению к каждому инструктору значительно ниже рангом или вообще маялись своей неполноценностью, как штатские по отношению к военным. Что уж тут говорить о заведующих отделами, третьих, вторых, а тем более первых секретарях, которые смотрелись просто генералиссимусами. Недаром же Анту Журавлеву назначили руководителем японских гастролей, поставив ее не только над Геннадием Сухановым, но и над самим Георгием Товстоноговым. И, кстати сказать, именно Анта выгодно отличалась от других подобного рода руководителей.

- Товарищи, - твердо сказала Анта, - паспорт нужно всегда иметь при себе. Беспаспортных забирает полиция. Одна балерина забыла паспорт, и ей пришлось танцевать в полиции, чтобы доказать, кто она такая... В гостиницах большой порядок и чистота, поэтому консервные банки не нужно швырять в свой мусоропровод, их следует заворачивать в бумагу, выносить из гостиницы и складывать в урны, чем дальше, тем лучше... Теперь... В номерах дают кимоно и тапочки; не увозите их с собой, как это сделал один наш известный артист... И самое главное, товарищи, в магазинах разбегаются глаза. Не переходите из отдела в отдел с неоплаченными товарами и сохраняйте все чеки до выхода на улицу... Ну вот, как будто все... Ах, да!.. Чуть не забыла!.. Владислава Игнатьевича Стржельчика и Владимира Эммануиловича Рецептера после собрания просил заехать в отдел

культуры обкома (или горкома?..) товарищ Барабанщиков...

"Вот тебе, бабушка, и юрьев день!" - подумал я, и во мне шевельнулось тоскливое подозрение, что после визита к товарищу Барабанщикову мои консервные банки могут не достичь японской урны. Стржельчик тоже недоумевал.

- Ничего особенного, - успокоила нас на ходу Анта Антоновна, - не волнуйтесь, это по поводу какого-то комитета, езжайте смело.

Однако я стал лихорадочно вычислять, о каком именно комитете может зайти речь у товарища Барабанщикова и при чем тут я и Слава.

Когда мы сели в машину Стржельчика и выехали с театрального двора, я сказал:

- Слава, у меня такое предчувствие, что нас хотят повысить в звании до членов антисионистского комитета.

Он пристально взглянул на меня и нервно спросил:

- Ты думаешь?

Я сказал:

- Ну, а какой там еще может быть комитет?.. Не безопасности же?..

Некоторое время мы ехали молча. Потом я спросил:

- Слава, клянусь, я никому тебя не выдам, ты - еврей?..

Стржельчик скрипнул тормозами и сказал:

- Я - поляк... Это тот комитет, в котором Райкин?

- И Быстрицкая... Но если ты не еврей, чего они хотят от тебя?..

Стржельчик ехал на красный свет и молчал.

В задачу изобретенного в Москве комитета входила пропагандистская борьба с международным сионизмом и происками израильской военщины. Его президиум, который не раз показывали по телевидению, выглядел довольно картинно, и в устраиваемых комитетом спектаклях принимали участие многие еврейские орденоносцы и знаменитости. Таинственно было одно: при чем здесь Стржельчик?..

На Суворовском проспекте я высказал еще одну догадку:

- Знаешь, по-моему, они надеются на тебя как на молодого члена партии.

Недавно первый секретарь обкома товарищ Романов лично вовлек наконец Стржельчика в партию коммунистов, дав ему свою высокую рекомендацию.

Я берег свою беспартийность, неуклюже хитря и уклоняясь от прямых предложений, как девственница.

- Это - хулиганство! - убежденно сказал Стржельчик, когда мы вышли из машины, и, крепко хлопнув дверцей, добавил: - Хрен

им!

Теперь мы были готовы к встрече на высоком уровне.

На нашу удачу, товарищ Барабанщиков, имя и отчество которого я по дороге учил наизусть, но с тех пор безнадежно забыл, совершил тактическую промашку, решив обсудить вопрос не с каждым в отдельности, а открыто и вместе: чего там! все свои!.. А вместе нам было все-таки полегче: нас двое, а он - один.

Моя трусливая догадка нашла свое подтверждение:

- В Москве есть такой комитет, а у нас еще нету, - сказал товарищ Барабанщиков с ласковой улыбкой, - это непорядок. Чем Ленинград хуже Москвы? задал он риторический вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил: - Вот мы и хотим предложить вам, Владислав Игнатьевич, как известному артисту и вам, Владимир Эммануилович, как артисту и писателю войти в это дело...

"Надо же! - оценил я. - Продумано!.. С одной стороны, дельце - дрянь, а с другой - накануне выезда в Японию... Скромная такая доплата за проезд! Или дополнительная страховочка..." На минуту мне показалось, что сейчас товарищ Барабанщиков достанет из стенного шкафа парочку форменных кителей и станет вежливо подавать нам для примерки и одному, и другому. Впрочем, форма одежды членов ленинградской фракции нового комитета могла быть и гражданской: фрак, смокинг, интеллигентная "тройка", спортивный пиджак, украинская рубашка с вышивкой, косоворотка, подпоясанная шнурком... Так сказать, с учетом художественной индивидуальности. Главное, чтобы мы согласились войти в это дело.

- Нет, - твердо сказал Стржельчик. - Мою жену не берут в Японию, и я отказываюсь.

Позавидовав безупречной логике Славиного аргумента и не давая товарищу Барабанщикову опомниться, я почти без паузы стал горячо убеждать:

- Понимаете, Имя-Отчество, к сожалению, я тоже не могу... Кроме театра, который, конечно, прежде всего, у меня очень много других обязательств: и Союз писателей, и Пушкинская студия, и секция чтецов, и общество "Знание"... Вы сами посудите, Имя-Отчество, ведь это все требует времени!.. И вызывает какое-то недовольство в коллективе: слишком много посторонних забот... Нельзя же брать на себя так много!.. Пожалуйста, поймите меня правильно...

Товарищ Барабанщиков так и понял...

О, Господи!.. Что это было?..

Я говорил чистую правду и в то же время врал, беспардонно, чудовищно врал, преодолевая рвотное чувство...

И Слава, которого тоже тошнило от этой вербовки, тоже врал,

приводя свои семейственные мотивы...

И товарищ Барабанщиков врал, говоря, что понимает наши сомнения и все же просит подумать еще...

Ну, подумать всегда не вредно, так же, как и хотеть... "Хотеть не вредно", - говорила ухажеру одна девушка, смягчая свой отказ...

Конечно, по оценкам отважных времен, мы вели себя не Бог весть как круто. Но тогда, когда это случилось, некоторые последствия могли и наступить. Ну, например, по срочному докладу товарища Барабанщикова нас могли "тормознуть" и у самолетного трапа. Если и не обоих, то хоть одного. Балетные прецеденты бывали: после бегства Рудольфа Нуриева, а тем более Миши Барышникова, обжегшись на молоке, "выпускающие" дули на воду...

Испытание сблизило нас, и, взглянув на часы, Слава предложил:

- Время обеда... Пойдем, посмотрим, чем питается "белая кость".

- Белая? - переспросил я, а он вместо ответа выразительно посмотрел мне в глаза...

Питались они недурно: и осетрина, и икра шли в обкомовской столовой по смешным ценам. Женщины на раздаче и подкрепляющиеся партийцы гостеприимно улыбались нам...

Домой ехали молча...

Я долго не мог взять в толк, по какой же логике это приглашение подфартило Стржельчику? И лишь через много лет меня осенила простодушная мысль, что поводом для включения в список антисионистов могла послужить роль старого еврея Соломона, которого Слава так прекрасно сыграл в пьесе Артура Миллера "Цена". Конечно! Он говорил с сипотцой и характерным напевным акцентом, дрожащими руками надбивал и чистил куриное яичко, доставал ложечку и долго кушал его, а потом сладострастно торговался о цене никому не нужной мебели. Перевоплотившись так органически и проникновенно, Стржельчик, очевидно, стал ассоциироваться у наших идеологов с типичными представителями древнего народа. Вероятно, он должен был войти в состав бойцового комитета как глубокий знаток еврейского характера и национальной психологии.

Наверное, тут была проявлена даже некая тонкость: с одной стороны знаток, а с другой - поляк. А польские коммунисты к этому времени решили вопрос почти радикально: взяли и всех своих евреев выслали из страны. Следовательно, товарищ Стржельчик, с точки зрения товарища Барабанщикова, на роль борца с сионизмом подходил как нельзя лучше. А он возьми и

откажись!.. Не ожидали...

А однажды коренной москвич, обладающий трезвым умом, пояснил мне еще одну причину, по которой в антисионистскую команду призвали поляка...

- Если бы Стржельчик был русским, - сказал он, - его бы не обеспокоили... А что такое поляки с точки зрения правящей партии?.. Такой же сомнительный народец, как цыгане и евреи... Российская империя их давила... Сталин с Гитлером их приговорили... Они себя выдали, понимаешь? Ты, мол, для нас все равно что еврей!.. Поэтому Стржельчик и напрягся... Ты вспомни, сколько поляков расстреляли в Катыни...

Я вспомнил...

Но самым противным на сегодняшний день показалось то, что от нас не ожидали отказа...

Чего они вообще ждали от нас? Сами-то понимали, чего ждут, или просто так зарплату оправдывали?.. Или их вообще нельзя отделять от нас, а нас - от них, потому что мы составляли единое целое?..

А чего ожидали мы? И от кого, главное?.. Бога у нас еще не было, фортуна казалась членом партии, а зарубежные гастроли - признаком избранничества...

Ну чего я, темный, ждал от Японии? Экзотики или глотка "другой жизни"? Разве мы не потащили с собой свои робкие привычки и вялые надежды? Разве послушно не разбились на "четверки" для удобства подробного надзирательства за каждым из нас?..

Юрий Алексеевич (или Александрович) представлял Комитет государственной безопасности и на нашем собрании держался скромно. Обаятельно улыбаясь, он честно признался в том, что театрального образования не получал, в Японии ни разу не был, но в трудных случаях может выручить и спичечный коробок с адреском отеля. Вообще же Япония - высокоорганизованная страна, и мы постараемся соответствовать ей своей высокой организацией. А вместе нам нечего бояться, так как нас "будут охранять".

- Ого! - сказал на это Иван Матвеевич Пальму и радостно оглянулся на остальных.

- С вами могут искать контакта лица негативные, - продолжил еще один новоявленный руководитель коллектива, уверенный, что мы одинаково понимаем значение слова "негатив", - так вот, контакты с ними не возбраняются, единственное, о чем я вас попрошу, поставить нас в известность... Единственное...

Юрий Александрович (или Алексеевич) живо напомнил мне мою университетскую практику в газете туркестанского военного

округа "Фрунзевец" и то, как радушно встречал меня заведующий отделом пропаганды полковник Борщиков.

Полковник был, очевидно, родом с Украины, но долго служил в Сибири, и речь его вобрала в себя как южные, так и северные особенности.

- Ну, Володя, - говорил он, вкусно окая, гакая и подбирая при этом особо выразительные предлоги и ударения, - мы рады, шо ты прышел к нам на практику... Ну шо тебе сказать?.. Мы тебе как представителю нашей мо'лодежи дадим полную творческую свободу... Понимаешь?.. Так... Ну какую тебе, Володя, поставить задачу, - спрашивал полковник и сам же радостно отвечал: - Ага!.. Сходи, пажалуста, у кино, Володя... Идет у наших кинотеатрах такая картина под названием ""Бахатырь" идет у Марто". Посмотри, пажалуста, эту картину. И напиши рыцензию... Вот шо хочешь, то и напиши. Буквально шо только захочешь, то и пиши... Хочешь, пиши 200 строк, а хочешь - 300 строк пиши. Сколько хочешь, столько и пиши. Вот только есть у меня одна маленькая просьбица. Ты усе-таки так напиши, дорогой Володя, чтобы наших солдат... Сержантоу... Офицероу... И генералоу... Да, и генералоу тоже... воспитать в духе нена'висти к американьскому империализьму...

Я написал.

- Ну, Володя, - сказал полковник Борщиков, - хорошую рыцензию ты написал на картину ""Бахатырь" идет у Марто"... Мы тебе ганарар выпишим приличный и поместим рыцензию на доску лучших материалов номера... Маладец!.. Ну, шо тебе еще сказать?.. Ага!.. Вот... Вышла у нас такая книга корреспондента "Правды" Даниила Краминоуа под названием, если не ошибаюсь, "Многоэтажная Америка". Так ты возьми, Володя, в библио'теке эту книгу или купи ее у мага'зине, прочитай внимательно и напиши на нее рыцензию... Шо хочешь, Володя, то и напиши... Мы тебе подвал дадим... Пиши подвал... А если хочешь два подвала - пиши... Причем, абсолютно шо хочешь... Полная тебе свобода, Володя... Только одна к тебе маленькая просьбица...

Вот так и у товарища Чекистова была к нам "одна маленькая просьбица" ставить его в известность...

И все-таки, все-таки... Мы ожидали японского чуда и "балдели" на чистых палубах советского судна "Хабаровск", идя через пролив Цугару, минуя остров Симокита, встречая рассвет на Тихом океане. О, какой кайф мы ловили на белом пароходе, ослепленные редкостной удачей и волшебной солнечной погодой!..

Плыли мы почти трое суток.

3

Прежде чем продолжить описание японских событий, автор должен честно признаться в том, что память его за истекшие годы изрядно прохудилась и он готов принять любые упреки в неточности от других участников поездки. Конечно, он беспредельно субъективен и безнадежно ограничен, но, видит Бог, он все-таки старался. Чтобы восстановить эпическую картину гастролей, он все же наводил справки, сверяясь со своим бестолковым дневником и разумными разъяснениями памятливых коллег. Телефонный звонок или случайный рассказ при встрече вносили в историю известные коррективы, и все же у каждого из участников путешествия свой сквозной сюжет, свои детали, и автор был бы рад, если бы его просьбы оказались услышанными, и те, кого он к этому склонял, сами записали свои бесценные байки. Но одни - дай им Бог удачи! - слишком поглощены актерской работой; других он, нерадивый, потерял из виду, а третьи просто уже не смогут этого сделать...

Поэтому автору не остается ничего другого, как поспешить со своим отчетом, прежде чем полное беспамятство не поставило и ему непреодолимой преграды...

Сделав это повинное отступление, он позволит себе пойти дальше, а точнее, вернуться назад и, выполняя данное обещание, коснуться темы наших сборов...

Не торопитесь, не торопитесь, читатель!..

Чтобы успеть до скорого отъезда наполнить гастрольные чемоданы, перед нами возникла необходимость прибегнуть к возможному "блату" и, проявляя изворотливость и смекалку, попытаться обменять на дефицитные продукты дефицитные билеты, а для того, чтобы получить билеты, следовало идти к заместителям директора, администраторам, заведующей билетным столом с символическим именем Надежда Алексеевна или к нашим дорогим кассиршам Ольге и Людочке...

Так, например, настоящий индийский чай "со слоником" и отечественный растворимый кофе я надеялся спроворить в знаменитом магазине "Чай-Кофе", что на Невском проспекте, рядом с Московским вокзалом, и, как спортсмен, настраивал себя на то, чтобы с разбегу преодолеть прилавочный барьер, нахально пройти в подсобку, подняться на второй этаж и постучать в дверь к директору магазина Любови Михайловне, средних лет красавице-брюнетке, с которой меня познакомил великий чаевник и кофеист Павел Петрович Панков. А поскольку покойный Павел Петрович, редкий книгочей и собиратель русской сатирической

литературы начала века, представил меня Любови Михайловне не только актером, но и литератором, то, заходя к обаятельной директрисе, я должен был выдержать короткий, но содержательный разговор на литературные темы и, благодаря ее за чайное сочувствие и кофейную поддержку, пригласить на свой концерт или новый спектакль или с искренней приязнью и лучшими пожеланиями надписать ей стихотворный сборник...

Милейшая Любовь Михайловна давала распоряжение своему заместителю, он отправлялся готовить пакет; а я снова спускался в торговый зал, чтобы оплатить покупку через кассу...

Замаскировав пахучую добычу в портфеле, я, по просьбе Любови Михайловны, черным служебным ходом выходил в соседний двор и как ни в чем не бывало шел по Невскому проспекту, переполненный чувством достигнутого равенства с верхними эшелонами власти...

Назвав по имени Павла Петровича, нельзя не сказать хотя бы несколько о том, кого мы для японского путешествия безвозвратно потеряли и кто украшал собой гастрольные кочевья в прежние годы.

Собственную смерть Панков предрек, ссылаясь на то, что и дед его, и отец умерли пятидесяти шести лет от роду, и он, мол, так...

Странствовали по Союзу или за рубежом, везде он жил, как у себя, несуетно и благородно, раз и навсегда установив регламент гостиничного домоседства и редко балуя местных зрителей демонстрацией своей импозантной фигуры вне сцены. И то сказать, выносить на улицу сто двадцать килограммов живого веса и таскать их по чужому городу - себе дороже. Уж лучше пить чай в нумерах.

После спектакля, - играл он сегодня или нет, - вокруг Панкова собирался некий творческий клуб, в который входили радист и теоретик театрального искусства Рюрик Кружнов, артист и гоголевед Миша Данилов, а также те из актерского цеха или обслуги, которые понимали толк в обрядовом русском разговорном времяпрепровождении. Дверь нумера была не заперта, но компания составлялась избранная: демократически настроенная интеллигенция, помнящая дворянское прошлое нашей культуры.

Неспешное и острословное обсуждение событий шло у Панкова до четырех-пяти утра в возвышенной ароматической атмосфере хороших чаев, вкусного кофия и дорогих сигарет, на которые Павел Петрович не жалел и валютных затрат. Стоит ли говорить, что Венценосным Председателем, Светящимся Маяком, воплощенным Обломовым, живым Джаксоном и воскресшим

Йориком был именно он.

Ни о каком алкоголе здесь и речи быть не могло, так как хозяин решительно бросил молодые привычки, загубившие не один самородный талант, и одним этим служил для нас высочайшим примером.

Расходясь почти на заре, участники посиделок знали, что теперь к Павлу Петровичу до двух, а то и до трех часов пополудни лучше не ломиться, да и позднее дать ему время на медленное просыпанье и плавное приведение огромного, рыхлого и талантливого тела в рабочее состояние.

Пик формы с Божьей помощью наступал у Панкова к началу вечернего спектакля, а в антракте вновь поспевал чифирный чаек или свежезаваренный кофий, что было следствием доброхотного опекунства, которое взяла над Павлом Петровичем костюмер и мажордом его клуба Татьяна Руданова...

Труднее приходилось, когда ему выпадали "утренники" и ранние репетиции, но эту предубежденность Панкова знал и даже отчасти принимал в расчет при составлении расписания завтруппой БДТ Валерьян Иванович Михайлов.

Та же Таня Руданова выполняла и покупные гастрольные поручения Панкова и, помимо носильных вещиц для жены и двух сыновей или какого-нибудь баловства для огромного, как хозяин, ньюфаундленда по имени Устин, доставляла к нему в номер до сотни разнокалиберных сувениров, потому что артист П. душой понимал ревнивые скорби оставшихся. Но и для блага семьи или утешения скорбящих Павел Петрович никогда не унижал себя походами по тряпичным делам. В табачную или кофейную лавку заглянуть мог, особенно если она обнаруживалась неподалеку от гостиницы, а в какие-нибудь универмаги-пассажи - Боже сохрани!..

Да и экскурсий по достопримечательным местам Европы или знаменитым музеям наш герой не жаловал; вы, мол, посмотрите и мне вечерком расскажете...

Во время "Мещан" за кулисами Павел Петрович, словно готовя Р. к близкому расставанию, несколько раз предупреждал, что его, Панкова, смерть не за горами, и не давал спорить по этому жестокому поводу.

- Нет, нет, Володя, теперь скоро, - говорил он, - вот увидите...

То ли знал, то ли напророчил...

И на роль Тетерева, которая была для него и дебютом, и триумфом на сцене БДТ, вынужденно ввелся Слава Стржельчик...

Что же касается артиста Михаила Данилова, то уж он-то Павла Петровича просто боготворил и сделал для себя примером подражания, а после его кончины продолжил в гастролях

панковские традиции: интеллигентные беседы, остроумные пикировки, кофий на спиртовой горелочке, сигаретный дымок, чайная церемония...

С твердокопченой колбасой, лососем и печенью трески дело обстояло сложнее, но и тут имелись налаженные маршруты. В зрительском буфете можно было войти в легкий сговор со старшинами закусочной службы и, пообещав на ухо известного лишку, создать для поездки скромные запасы.

Те же, кто имел право считать себя окружением Данилова, могли рассчитывать на продуктовую экскурсию в Елисеевский магазин, где сменным администратором трудилась его добрая мама. Готовя творческую высадку на Хонсю и Кюсю, предстал однажды пред ее очи и я, чревоугодный... Хотя и не помню, чтобы Р. хоть в одну поездку покупал для себя икру: именно икре дружно сопротивлялись недодушенный стыд и недостаток финансовой мощности.

Возможно, у депутата Лаврова или семьи Товстоноговых-Лебедевых были лучшие источники, чем те, о которых знал я, но здесь важно понять, что, независимо от чина и звания, никто не мог считать себя свободным от кормовых и курительных забот. И даже те, кто не имел никакого блата и не склонял гордой головы перед прилавком, рискуя желудками, брали с собой все, что доступно, например, вечную утеху потребляющей водку души - пряную килечку...

Впрочем, вру. Было в нашей команде и героическое исключение, подтверждающее общее правило. Лариса Малеванная, для которой японская гастроль оказалась первой загранкой с Большим драматическим, наслушавшись напутственных инструкций, перестраховалась и не взяла в дорогу никакой еды. Встретив ее в коридоре японского отеля, Юра Демич переспросил:

- Ты что, действительно ничего с собой не взяла?

- Ничего, - простодушно призналась Лара.

- Ну и дура, - обиженно сказал Демич, подтверждая мой тезис о том, что "дурак" в российском лексиконе стоит гораздо ближе к уважительному возвеличению, нежели к банальной ругачке. И добавил:

- Пошли, я тебе десять супов дам...

И вручил ей десять незабываемых куриных пакетов.

Поддержала Лару и Ирина Ефремова, захватившая с собой здоровенный шмат украинского сала, много сгущенки и контрабандный сыр на первое время. Сыра можно было взять лишь немного не только потому, что он не входил в "список", но и оттого, что не всякий гастролер мог рассчитывать на

холодильник...

"Конвертируемым", то есть упакованным в пухлые конверты, гороховым, куриным и прочим супам Миша Данилов присвоил изящное наименование "суп-письмо" и сам смастерил суповой кипятильник...

И тут, отвлекая от пищевой охоты, просятся на волю устные рассказы о кипячении и кипятильниках и правило, которое затвердил любой гастролер: без собственного прибора за границей делать нечего...

В отличие от домашнего, гастрольный кипятильник должен был иметь разрешающую способность греть воду от тока напряжением в 120 чужих, а не 220 наших вольт и хитрую кустарную вилку, преодолевающую сопротивление девственно строгих щелевых иностранных розеток, которые вечно прятались в самых недоступных углах номера...

Инженер по электронике Толя Левант, женатый на концертмейстере театра Розе Осининой, умел делать изящные приборчики даже из бритвенных лезвий, и это были настоящие шедевры прикладного искусства...

Сразу после расселения в Токио вышел у нас известный конфуз, когда, оказавшись наконец в своих номерах, все решили подкрепиться с дороги и дружно врубили свои нагреватели. Эффект был мгновенный и ослепительный: в гостинице вылетели все пробки и она погрузилась во тьму...

Как выяснилось позже, эксклюзивным правом на "эффект гастрольного затемнения" мы не обладали: аналогичные эпизоды сохранились в эмоциональной памяти коллективов Большого и Кировского театров, выездных хореографических ансамблей Игоря Моисеева и "Березка", а также прославленных симфонических оркестров Советского Союза и Ленинградской филармонии...

Здесь же, возникнув, как черт из табакерки, требует себе места история ухи, затеянной в одной из гостиниц Григорием Гаем...

Будучи человеком обстоятельным, Гриша не надеялся на типовой результат, который сулила консервная банка тресковой ухи, и не поленился сходить на местный базар, чтобы прикупить молодой картошки, укропа, лаврового листа и других необходимых приправ. Вернувшись в гостиницу и еще раз осознав, что лишен необходимой кастрюли, Гай достал щетку и мыло и тщательно вымыл номерной умывальник. Оставалось аккуратно заткнуть его пробкой на железной цепочке, набрать воды и опустить в новорожденный "котел" свой нагревательный прибор...

Напарником Гая в поездке был Владимир Татосов, который имел на утро другие планы и не знал о кулинарной затее Григория. Вернувшись и приближаясь к своему номеру, Володя стал ощущать беспримерные запахи большой рыбной кухни. Тревожась все больше и больше, он понял, что источником мощного "букета" является именно их с Гришей дортуар, который оказался запертым изнутри.

Володя постучал.

- Да, - глухо донеслось из-за двери.

- Гриша, это - я, - сказал Володя.

Таинственным детективным басом Гриша спросил:

- Ты - один?

- Один... А что?.. Что случилось?..

Гриша приоткрыл дверь и велел:

- Заходи! Быстро!..

И снова тщательно запер замок.

- Ну, Володя, - тоном заговорщика пообещал кулинар, - сейчас мы с тобой будем есть такую уху... Пальчики оближешь!.. Ты такой ухи никогда не ел!.. Чувствуешь, какой запах?..

- Чувствую, - сказал Володя. - Давай откроем окно.

- Ты что?! - сказал Гриша. - Хочешь, чтобы к нам применили санкции?!

К моменту, когда уха показалась Грише готовой, в номер постучал встревоженный сногсшибательным запахом сосед. По одним данным, это был Олег Басилашвили, по другим - Женя Горюнов, но некоторые с уверенностью называют Виталия Иллича...

Тут показания и о городе, в котором происходила сцена, и о рыбе, из которой готовилась историческая уха, расходятся. У одних в памяти возникает празднующая сорокалетие советского Казахстана Алма-Ата и жирный озерный толстолобик, у других - столица Финляндии Хельсинки и та же консервированная уха, однако не из трески, а из окуня.

И здесь важно отметить множественность путей, по которым движется единичный факт, обрастая вариантами и превращаясь в настоящий апокриф...

Если Татосов вспоминает о рыбных ароматах с оттенком негативным, другие акыны, наоборот, рассказывают о нежном и аппетитном запахе, дразнящем усталых от гастрольной сухомятки артистов.

Для завершения сюжета я, пожалуй, воспользуюсь второй версией: уха на славу удалась и гостю предоставили право снять пробу.

Предвкушая удовольствие, новобранец взял из рук Гая ложку

и, зачерпнув ею из огнедышащего чрева ухи, понес ко рту. Но оказалось, что вместе с рыбным наваром и лавровым листом он поддел железную цепочку, та выдернула со дна умывальника пробку, и с драматическим бульканьем дивная уха унеслась в преисподнюю...

Предоставим читателю право, в качестве домашнего задания, самому вообразить и описать реакцию участников сцены и жуткие натуралистические подробности избавления от последствий...

В отличие от беспечного Гая, Миша Волков обязывал реквизиторский цех тайно перевозить с собой непременную кастрюлю, электроплитку, крупу и картошку, потому что, не отступая от общих правил, железно соблюдал сепаратную диету...

Я же, никчемный сластолюбец, норовил прихватить с собой конфеты, шоколад-мармелад и фирменный круглый ленинградский пряник на меду в картонной коричневой коробке...

Но довольно, довольно!..

Автор должен ограничить себя в подробностях, иначе рискует безнадежно застрять в гастрономическом отделе...

А нам пора выезжать...

4

Дорога наша была не из легких и могла сравниться только с дорогой в Буэнос-Айрес, куда мы добирались через Москву, Лиссабон, Сантьяго, Гавану и Лиму с пересадками, ночевками, экскурсиями и таборными сидениями просто так...

Почему путешествие так смело берет на себя роль сюжета?..

Может быть, потому, что всякое действие и движение, сменившее неподвижность, естественно и властно притягивает взгляд?.. Любой предмет, смещаясь в пространстве, заставляет следить за собой, а неизвестный предмет тем более...

То же самое можно сказать и о предмете известном, ибо перемена места способна придать ему новый облик, а непривычное пространство заражает охотой скольжения во времени...

Одно дело - Большой драматический театр дома, на Фонтанке, 65, и совсем другое - на дальних гастролях.

Скажем, я давно знаю артиста Владислава Стржельчика, но вот он едет на японские острова, причем с единственной ролью, да еще и вводом, едет вместо умершего Панкова, да еще без любимой и неразлучной жены, Люды Шуваловой, сперва актрисы, а теперь нашего ассистента режиссера или даже режиссера-ассистента. Таким образом, Слава поставлен в необычные обстоятельства дороги, ночного одиночества и хотя и временного, хотя и случайного, однако же неравенства на гастрольной сцене...

Разве герой не привлечет к себе наше повышенное и сочувственное внимание?

И все мы таковы - те же и немного не те, что обычно, и все узнаем о себе что-то новое, не то чтобы именно "японское", однако и явно не вполне "фонтанное".

Беда лишь в том, что при всей любви к Славе, Грише или Гоге автор не сможет сказать о них столько, сколько о себе, и лишь на своем нелепом примере в силах оказаться подробней и достоверней, чем на других, если, конечно, у него хватит отваги, а у читателя - терпения...

Как я уже сказал, дорога наша была не из легких: почти восемь часов на ИЛ-62 до Хабаровска; день - в городе, а ночь - в поезде до порта Находка, с вагоном-рестораном и всеобщей бесшабашной тратой ненужных в Японии рублей...

Сева Кузнецов, начинавший актерскую карьеру на Дальнем Востоке, чокался со всеми то ресторанной рюмкой, то граненым стаканом от проводника и на разные лады повторял ностальгическую фразу:

- Еду по своей юности, ребята!..

Получалось, что все мы как бы у него в гостях.

Гриша Гай тоже смолоду служил на Дальнем Востоке, но с нами не ехал, а лежал в больнице и сочинял письмо Товстоногову о том, что чувствует себя вполне здоровым, ждет от него новых ролей и готов на любые условия, лишь бы работать... Лишь бы оставаться в театре.

Давным-давно, в первый же день моей новой службы, здоровый и красивый Гай подошел ко мне в фойе, улыбнулся и подал руку:

- Очень рад, что вы теперь с нами, - сказал он. - Хотите, попрошу заведующего труппой, чтобы вам дали место в нашей гримерке?..

Мне показалось, что я давно знаю это широкоскулое мужественное лицо.

- Спасибо, хочу, - сказал я, а позже услышал, что так же открыто и дружелюбно он подошел к Володе Татосову, когда тот появился в "Ленкоме"...

В Грише сочетались редкая начитанность, живой ум и широта интересов. Вечно он писал какой-то телесценарий, ну, скажем, о Владимире Галактионовиче Короленко, или страстно учил польский язык, или читал в закрытой библиотеке том Гудериана; вечно таскал с собой огромный набитый портфель, который вызывал насмешки недоброжелателей: зачем актеру портфель? Но Гриша не обращал на них внимания.

Впрочем, его портфель и для меня был вечной загадкой, потому что, кроме книг и сценариев, в нем могла оказаться и добрая выпивка, и свежая базарная закуска, и штопор, и столовый прибор в салфетке, а иной раз чистая простыня и большое полотенце из прачечной, если Грише предстояло тайное свидание на квартире нашего общего друга артиста Бориса Лёскина...

Думаю, что в известной степени из-за этого самого портфеля и любви Гая к разным непредсказуемым книгам он и получил в "Амадее" роль императорского библиотекаря Ван-Свитена, который Моцарта сперва защищал, а потом предал. В невеликую роль он, по-видимому, вкладывал какие-то свои размышления об искусстве и жизни, и, я думаю, драматическое содержание заботило его больше, чем красота придворного костюма, который сшили на него, а перед отъездом в Японию пытались напялить на меня.

Еще во время репетиций, когда Товстоногов стал сокращать пьесу Шеффера и роль императорского библиотекаря в особенности, Гриша сильно разволновался и страшно расстроился, боясь, что теперь не сумеет выразить современный

смысл интеллектуального предательства и борьбу зла и добра, происходящую внутри героя. По этому поводу он даже ходил к Гоге, но успеха не добился...

И хотя при людях Гриша старался ничего не обнаружить, следы его настоящих страданий остались в переписке с давним другом Ольгой Дзюбинской...

А когда, пройдя через все испытания, он все-таки сыграл своего библиотекаря и выразил то, что хотел, а спектакль стал кандидатом на поездку в страну восходящего солнца, Гай оказался в таком ужасном состоянии тела и духа, что не был включен даже в предварительный список. И это было больно...

Гай попал в больницу и окончательно упал духом...

А ведь он учил нас другому. Именно он дивно сыграл в "Фиесте" писателя Билла Гортона, который твердил гудящим голосом Гриши:

- Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях...

А Миша Волков в роли Джейка ему отвечал:

- Если выпьешь еще три рюмки, ты упадешь духом...

Телеспектакль по роману Хемингуэя поставил Сережа Юрский, и он имел у зрителя настоящий успех...

То есть сначала мы репетировали "Фиесту" в театре и даже показали прогон Гоге, но Гога по каким-то важным для него причинам этой работы не принял, и тогда Сереже пришлось искать реванша на телевидении...

Роль Билла Гортона на редкость совпадала с его главным человеческим свойством: быть честным, стойким и никогда не падать духом, о чем он и просил всех нас, и прежде всего огорченного Сергея.

И до последнего времени это Грише удавалось.

Несмотря ни на что...

Даже в те черные времена, когда многие падали духом, потому что партия громила космополитов. И Центральный театр Советской Армии, в котором работал Гриша, громил безродных космополитов. И сводный хор погромщиков изо всех творческих сил дружно мочил своего собственного космополита.

Тогда, на общем собранье раздался одинокий голос Гая, который сказал:

- Это - несправедливо. И это - неправда. Наш завлит Борщаговский вовсе не портит советские пьесы. А часто даже спасает. Наш завлит бескорыстно спасает плохие пьесы бездарных драматургов!..

И привел примеры...

Тут-то все и случилось.

Тут-то все собранье развернулось против Гриши, и его вместе с Борщаговским как безродных космополитов исключили из партии и прогнали из театра...

К сведению тех, кто уже и еще не знает.

"Космополиты", по тем временам, значило - евреи; их-то тогда и громили.

И некоторых - до смерти.

В конце сороковых - начале пятидесятых годов прошлого века, когда Гришу Гая изгнали из военного театра, "космополитов" громила вся страна во главе с обкомгоркомрайкомами и Центркомом. Громила громко и открыто.

А в начале восьмидесятых, когда Гай служил в Большом драматическом, а нас со Стржельчиком вызывал товарищ Барабанщиков, партия, в соответствии с духом нового времени, поступила гораздо хитрее и создала как бы общественный Комитет по борьбе якобы с сионизмом, заставив советских евреев самих себя громить. И не громко, а под сурдинку. В этом и заключались партийная хитрость и творческое развитие сталинской национальной политики в новых международных условиях.

Так вот, даже и тогда, когда его выгнали из центрального армейского театра, Гриша не упал духом, а, походив по Москве безработным и убедившись, что другие театры его принимать боятся, собрался ехать на самый Дальний Восток...

И надо же так случиться, что тут на улице Горького ему встретился космополит Борщаговский, а мимо как раз проходил Товстоногов.

И космополит Борщаговский познакомил космополита Гая с режиссером проверенной ориентации Товстоноговым, который спешил на вокзал.

А Гога знал, что случилось с Гришей, знал, что Гриша - в опале. Но он не побоялся поступить как захотелось и, повинуясь порыву души, сказал опальному Грише:

- Я еду в Ленинград принимать молодежный театр. Хотите со мной?

- Хочу, - сказал Гай, и они подружились...

Такова правдивая легенда и легендарная правда.

Возможно, в моем пересказе есть и неточности. Может быть, Гогу с Гришей познакомил не Борщаговский, а кто-то другой. И может быть, молодой Мастер направлялся еще не на вокзал, а в другое место. Более того, у автора есть разноречивая информация о том, что Товстоногов и Гай познакомились то ли в Тифлисе, то

ли в Москве, однако, еще до войны. Но он просил бы уважаемого товарища Борщаговского и других знающих товарищей не вносить разрушительных уточнений.

Потому что ему кажется, что так лучше...

Приехав в Ленинград, Гога и Гриша начали с общаги "Ленкома", и радость совместного восхождения заполнила их краткие сутки и круглые сезоны. Это было время веселой бедности, и Гай с улыбкой упоминал случай, когда обе семьи были поглощены то ли штопкой, то ли латаньем единственных Гогиных штанов. Соль рассказа была, очевидно, в том, что родство душ было тогда для них много дороже любых признаков внешнего благополучия.

В "Ленкоме" Георгий жаловал Григория, и они дружно получили Сталинскую премию не то за спектакль "Из искры", где Лебедев играл Сталина, а Гай грузинского работягу по имени Элишуки, не то за "Репортаж с петлей на шее" Фучика, где Грише досталась роль тюремного надзирателя Колинского.

Или Георгий получил тогда две премии за оба спектакля, а Женя Лебедев с Гришей по одной?.. Важно, что все трое стали сталинскими лауреатами, и, как мне кажется, все трое надеялись, что это - только начало...

Кроме грузина и чеха Гай сыграл еще украинца, узбека и несколько лиц других национальностей, и это, безусловно, доказывало, что он - никакой не "космополит", а, наоборот, пропагандист и агитатор дружбы братских народов.

Особенно приятно было узнать, что Гриша исполнил роль героя пьесы Абдуллы Каххара "Шелковое сюзанэ" по имени Дехканбай, а Гога за эту, очевидно, выдающуюся постановку, был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР".

Однако, приняв БДТ, Георгий Александрович не тотчас позвал за собой Гая, а когда все-таки позвал или принял в расчет Гришино стремление, то уже на вторые, а не на первые роли, о чем, судя по некоторым свидетельствам, его и предупредил. То есть речь шла об укреплении вторых ролей в БДТ артистом первого положения из "Ленкома", и ему самому предстояло решить, согласен он на новые условия или нет.

Пожалуй, это и был для Гриши первый удар. Попробуй-ка сделать такой выбор: остаться одному в обезглавленном "Ленкоме" или продолжить совместную с Гогой творческую жизнь, но уже на втором плане...

И Григорий снова присягнул на верность Георгию, приняв его условия и стараясь не падать духом...

"Дорогой Георгий Александрович!" - писал из больницы Гай...

По чуткому стечению благосклонных обстоятельств на

теплоходе "Хабаровск", отчалившем наконец от советского порта Находка, с нами плыла балетная труппа Большого театра, и вряд ли мне удастся передать через годы, какое блаженное томление заключалось в том, чтобы, опершись на палубные перила, отважно говорить с легконогой Ниной и длинношеей Людмилой о дивных беглецах Рудольфе и Мише, об элевации и поддержках, о звездных прорывах на авансцену и разумной привычке стоять "у воды", то есть прочно держаться в спасительной тени кордебалета...

Задавая виноватые вопросы, я узнавал от Люды и Нины о судьбе их прекрасных товарок - безвозвратно потерянной мною Ольги и до конца дней дорогой Жени, которые, слава Богу, еще танцуют, но живут другой жизнью и, может быть, помнят, может быть, помнят меня...

Мы говорим, как будто танцуем; на плавной палубе некуда деться от тайной любви к морской свободе и женщинам-птицам. Их, конечно, бдительно охраняют, но мы охранникам не опасны; мы не знаем балетного эсперанто, и что с нас взять, почти безъязыких?

Если в будущем у меня станет отваги, я погублю актерскую карьеру и покаянным отщепенцем сяду за письменный стол, чтобы подробно и безнадежно вспоминать своих ненаглядных, и посылать им поздние поклоны, и благодарить закулисное небо за то, что радость меня не миновала...

А пока... Пока я плыву по Японскому морю, и до меня тихо доходит: вот как живут неведомые миллионеры и заграничные аристократы, проводя свое драгоценное время на палубах белых пароходов и небрежно роняя слова в мировое пространство...

А тут еще крахмальные официанты в кают-компании за обедом, и карты меню, и сверкающие приборы, и луковые супы, и авокадо, и музыка сладкого свойства, и взгляды балетных наяд и обалденных русалок...

Здесь же, на палубе, возникла и обнаружилась еще одна ниточка нашего сюжета, сотканная чистой воды случайностью, ибо чем еще я могу объяснить беспечное знакомство нашего маэстро Семена Ефимовича Розенцвейга с тремя молоденькими японками, возвращавшимися на древнюю родину из дикой Европы.

Палубная жизнь призывала пассажиров не только к пассивному сибаритству, но еще к подвижным играм и знакомым развлечениям.

Молодой швед в малиновой майке усердно работал неким подобием швабры, передвигая по большому шахматному полю огромные шашки. Может быть, он чувствовал себя Гулливером, но

ему от души нравилось это дело, и, подпрыгивая от полноты чувства, он беззастенчиво и громко смеялся.

А три юные японки были так простодушны, что соревновались между собой, стараясь повыгоднее набросить резиновые кольца. Квадратный деревянный щит стоял под углом в сорок пять градусов, а на нем торчали железные штыри; попади колечком на штырь, под ним - цифра, кто больше очков наберет.

Это были первые японки, которых мы увидели, направляясь в загадочную страну, но, по правде сказать, лично я испытал легкое разочарование, настолько они показались мне неказисты рядом с райскими птицами из балета.

Но наш маэстро Семен Розенцвейг увидел их совсем по-другому и даже заговорил, благо, у него была такая языковая возможность, и юные японки легко отозвались его смущенным речам.

Я не знаю, о чем они говорили на смешанном англо-немецком сленге, но одна из них оказалась русисткой и внесла в беседу русские слова, и на следующее дивное утро, когда все население парохода еще крепко спало в своих каютах от первого до четвертого класса, наш Семен в спортивном костюме бодро вышел на пустынную и влажную палубу, чтобы встретиться с юной Иосико.

И вот они вдвоем побежали вдоль борта по большому кругу, начиная общую оздоровительную зарядку...

Вдоль борта, вдоль борта, вдоль борта... Поворот по корме и обратно вдоль борта... Поворот у форштевня, и снова к корме...

И вдруг, отвлекаясь от техники дыхания, они услышали музыку морского простора, рвущегося тумана и восходящего солнца.

кажется, никто не придал значения тому, что каждый восход они встречали вдвоем на пустой палубе парохода и бегали рядом, Семен и Иосико, несмотря на большую разницу в возрасте, а может быть, именно благодаря ей... Их совместные пробеги имели продолжение на островах Хонсю и Сикоку и позднее - в Советском Союзе, а до чего они добежали, я сообщу в свое время....

И вдруг в эту размеренную аристократическую жизнь, как смерч, врывается Зинаида Шарко. Просматривая в каюте закупленные в Находке газеты, она задержала свое чуткое внимание на массовом органе наших профсоюзов. Последний номер газеты "Труд" сообщал: "Первое сентября. Над Японией пронесся чудовищной силы ураган, снесший с земли чуть ли не всю Иокогаму, на две трети Токио и на треть Осаку... Не поддается подсчетам число жертв и разрушений... Уцелевшая часть японского правительства обратилась к мировому

сообществу...". И так далее, и тому подобное, можете себе представить...

Переполненная трагическим ужасом, Зина взлетает на палубу, где разомлела большая группа пассажиров, и своим дивным тремолирующим голосом зачитывает вслух ужасный текст. Газета переходит из рук в руки. Дама из советского посольства падает в обморок и, приведенная в себя, рыдает о детях, оставленных в Токио на время ее советской отлучки. Вокруг Зины и дамы растет женская паника. У мужчин возникают головокружительные вопросы.

Артист Николай Трофимов резонно вопрошает:

- Зачем же нас посылают на верную гибель?..

Владислав Стржельчик зовет к мужеству и терпению...

А ветеран фронта и тыла Иван Пальму, исполненный стойкого патриотизма, успокаивает тоскующих женщин:

- Наши обязательно что-нибудь сделают!.. Вот увидите, такой театр, как наш, правительство обязано спасти!..

У этого эпизода столько же вариантов, сколько участников. Так, Анта Журавлева свидетельствует, что услышала жуткую весть от Олега Басилашвили, а тот хорошо помнит, что к нему с газетой "Труд" в неспокойных руках явился директор Суханов. Он и сказал Олегу, что дальше плыть, собственно, уже и некуда, ввиду того что Японии как таковой больше не существует. Басилашвили принял известие всерьез, потому что директор Суханов шутить не умел, а разыгрывать не имел права, и посоветовал ему идти в капитанскую рубку, чтобы капитан связался по радио с теми, кто мог бы дать центральные указания по этому ужасному поводу.

Некоторые патриоты громко предлагали немедленно развернуть пароход и двигаться обратно в родную Находку.

Судя по всему, именно Геннадий Иванович Суханов сообщил Анте Антоновне Журавлевой о катастрофе и совете Олега Валериановича Басилашвили и просил ее связаться с центром, потому что именно Анта Антоновна Журавлева пошла разыскивать капитана и нашла его в люксовой каюте Кирилла Юрьевича Лаврова.

Однако на этот момент и Кирилл Юрьевич, и капитан пребывали в состоянии совершенной беспечности, из которого выходить не только не собирались, но даже и при желании не могли. Наоборот, оба они успешно искали новой степени счастливой беспечности, что и подтверждала реплика капитана:

- Могу я хоть раз в жизни расслабиться с любимым артистом?..

Через 15 лет, вспоминая этот случай со счастливой улыбкой,

Анта Антоновна Журавлева, которой только что удалили аппендикс, попыталась ограничить меня:

- Но об этом писать не надо!..

И если я ослушался, от души желая ей здоровья и долголетия, то лишь потому, что над нами нависло беспутное время, которое оказалось сильнее отсталых страхов и вянущих пожеланий.

Я только переспросил Кирилла, помнит ли он пароходное возлияние с капитаном, и Лавров сказал:

- Про капитана не помню, а я на "Хабаровске" пил крепко...

Вот благородный поступок: взять вину на себя и отвести ее от товарища.

Поэтому руководительнице поездки пришлось выйти из люкса и обратиться к старшему помощнику капитана, несущему вахту в капитанской рубке...

Далее показания путешественников опять сходятся: суровый мореход появляется на палубе и в окружении балетных и драматических артистов погружается в трудное чтение. Все смотрят на него с ужасом и надеждой...

- Да, трагедия, - задумчиво говорит старший помощник, и лица окружающих его артистов мгновенно становятся похожи на маску трагедии: углы губ опускаются вниз, а брови поднимаются "домиком". - И все-таки будем волноваться в разумных пределах. Вот тут, выше сообщения, читаю название рубрики: "Что было шестьдесят лет назад". Стало быть, ураган случился первого сентября 1923 года. Делаю вывод: у японцев было время принять должные меры... Плывите спокойно, товарищи...

И мы доплыли.

Перед высадкой оба театра собрали в музыкальном салоне, и, поднявшись на борт, двое ребят из советского посольства сообщили о текущем моменте. Они стояли на оркестровом подиуме, в центре, а мы толпились вокруг.

- Обстановка очень сложная, очень, - сказал старший, вяловатый и безликий, держа пиджак в левой руке и вращаясь вокруг собственной оси. - Такая создалась обстановка, товарищи, что сейчас Ованес зачитает вам заявление советского правительства.

- Пожалуйста, громче, - попросил из салона встревоженный Иван Пальму и приставил ладонь к уху.

Чернобровый Ованес читал достаточно громко, но не вращался по часовой стрелке: очевидно, официальный текст не давал ему оснований для круговой мизансцены.

Советское правительство заявляло, что принадлежащий южнокорейской авиакомпании "Боинг-747", с двумястами

шестьюдесятью девятью пассажирами на борту, атакованный нашим истребителем-перехватчиком над Охотским морем и улетевший в сторону моря Японского, коварно, с разведывательной целью нарушил воздушное пространство нашей Родины, и мы не можем считать себя виновными в гибели экипажа и несчастных пассажиров. Мы, советские люди, как всегда, единодушны и, сожалея о погибших, твердо заявляем, что и впредь собьем и утопим любого нарушителя священной границы...

Выходило так, что, тревожа беспечный "Хабаровск" вестью о катастрофе, Зина Шарко как в воду глядела...

5

Первым под вспышки корреспондентских блицев и направленный свет ручных телекамер высаживался в Иокогаме "Большой Балет", и Нина с Людой поводили мне на прощанье лебедиными руками...

Я смотрел им вслед и видел, как махнула прощальной рукой высокая Ольга, когда мы расставались с ней в беспечной Праге. Я смотрел немое кино про нашу встречу, про то, как мы влюбились друг в друга и целовались в золотой чешской столице шестьдесят восьмого года, накануне вторжения советских танков...

Почему-то я вспомнил и запел про себя довоенную песню, быть может, ошибаясь в тексте, но, кажется, на точный мотив: "Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы (или самолеты) вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь, я не знаю, скоро ли, только возвращайтесь хоть когда-нибудь...". Впрочем, кажется, эта песня взялась из повести А. Гайдара "Тимур и его команда" и одноименного фильма, произведших в свое время на меня как на пионера и школьника должное действие.

А в шестьдесят восьмом, в Праге, когда я прощался с Ольгой, я был много моложе, беспощаднее к женщинам и глупей, чем сегодня, хотя моим критикам трудно будет в это поверить.

Что мне осталось от пражского прощанья? Единственное письмо из Нормандии?

Знакомое чувство стыда и вины за танковое вторжение?

Или рассказ уходящей с "Хабаровска" Нины о том, что Ольга замужем за русским, а сыновей зовут Матвей и, кажется, Димитрий?..

Когда автобусы "Большого Балета" отвалили от причала, был дан сигнал движения и нам.

Похожие на мальчишек маленькие японские носильщики потрясенно грузили на хрупкие тележки наши консервные, наши свинцовые, наши гранитные чемоданы.

Единственное, о чем я мечтал, стараясь как можно элегантнее ступать по сходням, так это о том, чтобы вопросы японских репортеров меня не коснулись. И мне повезло. "Что вы думаете о расстреле южнокорейского пассажирского "Боинга"?" - слава Всевышнему, спросили других.

Своим черным "Борсалино", роскошной бородой и импозантным галстуком первым привлек к себе внимание рабочий сцены Коля Турбанов. Он приветливо улыбнулся в телекамеру, развел руками и сказал короткий текст, которому его научили.

Рома Белобородов как заместитель директора многозначительно ушел от прямого ответа, сказав, что надеялся на вопросы об артистах.

А Люда Сапожникова, со свойственной ей актерской непосредственностью, сказала прямо:

- Какое ужасное несчастье!..

Но когда через много лет я переспросил Люду, так ли именно она отвечала японским репортерам, она посмеялась надо мною.

- Володя! - сказала она. - Что я, дура, что ли! Нас же предупредили, чтобы мы были осторожны и ничего такого не говорили. Я им сказала, что очень устала с дороги... За нами же все время следили!.. Володичка, разве ты не помнишь, с нами было четыре кагебешника!..

- Разве четыре, Люда?.. Я помню, кажется, двух...

- Володя!.. Их было четыре!.. Двое были как бы рабочими сцены... Худенькие такие... Чтобы следить за рабочими... И еще двое как бы начальство... Чтобы следить за нами!..

- Боже мой! - сказал я. - Какая у меня плохая память!.. А может быть, и ты не все помнишь, Люда? Мне так понравился твой ответ... Знаешь, я все-таки оставлю, как у меня было: "А Люда Сапожникова сказала: "Какое ужасное несчастье!..".

Все сорок дней, проведенных нами в Японии, прошли под знаком воздушного расстрела, и наши экзотические впечатления чередовались с напоминаниями о случившемся первого сентября.

Пресс-конференция начальника Генерального штаба Огаркова... осадное положение агентств "Аэрофлота"... портрет погибшего американского сенатора и скорбные речи его семьи... фотографии шестидесяти японцев, принявших смерть в числе других пассажиров... ожидающий новых данных премьер-министр Японии Накасоне... рассуждения чужих дипломатов и собственных закулисных политиков о возможном развитии событий... вызов нашего посла в токийское министерство... объявление санкций японского правительства и закрытие на две недели советско-японских авиалиний... пароходы и катера, бороздящие взволнованное пространство в акватории катастрофы... рыдающие родные и погребальные венки на океанской волне... Все это и многое другое не давало забыть о том, кто мы такие, все вместе и каждый в отдельности...

Монолитное единство советского народа и его железная сплоченность вокруг родной партии и правительства требовали от меня полного отрицания нашей вины в гибели несчастных пассажиров. Но предательский гамлетизм беспутного сознания заставлял считать виноватым именно себя.

У коллектива на этот счет сложились различные мнения. Но

плакат "Вы убили нашу семью!" произвел сильное впечатление на всех...

Из Иокогамы на автобусах нас без остановок привезли в Токио и стали расселять в далеком от центра "Сателлит-отеле". Весь этот район вместе со станцией метро назывался "Каракуэн".

"Сателлит" значит "Спутник", и гостиница полностью соответствовала своему малозвездному названию...

Расселение труппы на гастролях - вот мотив для поэмы о театре, и пусть сильные и молодые воспользуются моей наводкой. Я же рискну лишь на беглый намек или робкий набросок, потому что боюсь безнадежно застрять в мелочах драматического ритуала.

До того, как войти в отведенный номер, а главное - окинуть взором номер соседа, никто не может быть до конца спокоен, даже самые первые лица... И вид из окна имеет значение, и холодильник, и то, какой телевизор. Не говоря уже о количестве комнат. Поэтому административный талант Бориса Левита в прежних поездках, а вслед за ним и Ромы Белобородова при каждом расселении должен был быть целиком востребован и до конца проявлен.

Спокоен, конечно, относительно, тот, чью жену в поездку взяли, ну, например, Вадим Медведев по поводу себя и Вали Ковель; или тот, кто будет жить в одиночку, но чья безусловная автономность - еще одно подтверждение его заслуг и таланта.

Почти спокойны также и те, чьи однополые пары сложились давно и прочно и остались вне подлых подозрений...

Но как описать молчаливые драмы непарных или признанных не в полную меру?.. Впрочем, в этом-то вся загвоздка: кто из нашей страждущей братии может сказать, что и признан, и оценен по счастливой и полной мере, если даже Слава Стржельчик, томясь и глядя в заоконную даль, сказал мне глухим голосом:

- Холодильников нет ни у кого, кроме Лаврова...

Был у нас случай, когда труппа заночевала в Синае, во дворце бывшего румынского короля Михая, и Паше Луспекаеву достались невиданной красоты и роскоши апартаменты с голубой ванной, зеркалами в потолке и кроватью под балдахином - всеми признаками королевской опочивальни. В этой декорации, как и в любой другой, Луспекаев смотрелся картинно, и, усевшись в центре ложа со скрещенными, тогда еще не так болевшими ногами, он с общей помощью разыгрывал смешные этюды. Как принято в хороших театрах, "короля" играли "придворные".

- Теперь бы сюда хорошенькую румыночку, - хищно сказал Паша.

Но тут вместо румыночки появилась одна из наших героинь и, оценив обстановку, задала суровый вопрос:

- Почему королевская спальня досталась Луспекаеву, а не мне?

Чтобы не возбуждать ее гнева, администратор ответил правдиво:

- Это вышло совершенно случайно...

Но она была не удовлетворена ответом и пошла разбираться к директору, однако, перепутав номер - случайность плодит другую случайность, - распахнула дверь, за которой поселили другую из наших героинь. Та была уже в постели и готовилась ко сну.

Думая, что попала в тот номер, который искала, одна из наших героинь сказала другой:

- Ах, так!.. Ты уже спишь в кровати директора!.. Ну, хорошо!.. Ну, погодите!.. Вот я сейчас уеду в... И заберу с собой...

Зная, что вызову недовольство читателя, я все-таки не скажу, в какой город собралась ехать вспыльчивая героиня и кого именно грозила с собой умыкнуть... Уж если я не называю некоторых имен, значит, у меня есть внутренние препятствия и причины, смысла которых я и сам не всегда могу определить.

Может быть, замыслы мои более честолюбивы, нежели простое описание случаев из актерской жизни?

А может быть, эта книга, забирая власть над автором, неудержимо влечет от частного эпизода в сторону свободного парения и обещает героям и героиням такие поступки, которых в жизни не совершали знакомые ему прототипы?..

Кто знает?..

Что касается меня самого, то, "с отвращением читая жизнь мою", признаюсь, что точно так же, как та героиня, был смертельно уязвлен, когда узнал, что в "Сателлит-отеле" мне, любимому, приготовлен номер всего лишь в четвертом этаже, тогда как других артистов моего заслуженно среднего положения расселяют несколько выше...

Страдая и отчаиваясь, я пытался унять горделивую обиду и оправдать клокочущий в горле гнев прагматическим рассуждением о том, что верхние этажи не просто престижней, но в них есть еще и дополнительное жизненное пространство...

"Где справедливость? - спрашивал я судьбу, совершив постыдную разведку, номер в четвертом этаже на целую половинку татами меньше, чем в шестом!.. В нем нет этого чудного плоского шкафчика, как в шестом!.. И негде чемодан угнездить, как в шестом... И негде повернуться!.. И вид из окошка позорно ограничен... Другие такие же, как я, - в шестом, а я такой

же, как те, - в четвертом... Почему?.."

Тут припомнился мне и другой заграничный случай, когда я отказывался разделить с Изилем Захаровичем Заблудовским номер хотя и с двойным, но нераздвигаемым супружеским ложем и требовал себе отдельного койкоместа. И дело тут не в Изиле, человеке, во всех отношениях безупречном и не вызывающем никаких подозрений, а во мне и моем упрямом намерении и днем, и ночью отстаивать собственный, вероятно, врожденный сепаратизм. Тогда у меня хватало мужества выходить на прямой разговор с начальством. Правда, в те поры наш истребитель не сбивал южнокорейского "Боинга" и не было такой сложной международной обстановки...

- Володя! - сказал мне Борис Самойлович Левит, предыдущий заместитель предыдущего директора, - а ты не находишь, что твое требование недостаточно скромно?..

- Ах вот как? - воинственно переспросил я. - А укладывать меня в одну койку с Изилем, по-твоему, скромнее?

Однако Борис не сдавался:

- Но, Володя, здесь стоят не одна, а две кровати, - сказал он.

- А ты попробуй их раздвинуть, - коварно предложил я.

Борис попробовал и, несмотря на то, что в молодости занимался боксом, сделать этого не смог.

- Вот видишь, - не удержавшись, сказал я.

Но Борис не признал своего поражения. Он сказал:

- Ну и что?.. Кроватей все равно две.

Стараясь быть совершенно спокойным, я сказал:

- Если они не раздвигаются, значит, не две, а одна. - И, проявляя гибкость, добавил: - Пойми, Боря, я вовсе не возражаю против того, чтобы жить в одном номере с Заблудовским, я только против того, чтобы спать с ним в одной койке...

В ответ Борис дружелюбно посоветовал:

- Володя, ты все-таки подумай, по-моему, постель достаточно широка.

- Вот и ложись в нее с кем захочешь, - огрызнулся я, снова проявляя свою агрессивную сущность и толкая Бориса к справедливому негодованию.

Однако номер он нам поменял, и между двумя лежанками возникло целомудренное пространство...

А теперь... О японские боги!.. Неужели я не достоин возвыситься до шестого этажа, где койка помещается не вдоль номера, а поперек и вид из окна способен расширить мои горизонты?

Наконец, отчаявшись и исстрадавшись, я понял, что, согласись я на четвертый, и буду до конца своих дней затоптан и

унижен, и сам буду в этом виноват. Решительно оторвав от пола чугунный чемодан, я вернулся в вестибюль и предъявил Роману Белобородову свои попранные права.

Как заместитель директора Рома признал свою неумышленную ошибку, но счел нужным отметить, что из всего большого коллектива, понимающего особую сложность международной обстановки, один Рецептер имел неосторожность выразить свое личное бытовое неудовлетворение...

- Берегите голову, - сказал мне Рома, вручая ключ от номерка в шестом этаже, и мне почему-то запомнилась его предупреждающая реприза.

Но, Боже, какое счастье испытал я, завоевав одну вторую татами и выиграв целых два этажа! Как уютно мне стало в моем законно добытом пространстве под номером 636!

Я смотрел в окошко и видел, как паркуются во дворе нашего отеля автобусы и легковушки, как выше, за нашим забором, выплывает из темной норы тоннеля, проткнувшего холм, неспешная подземка; как беззвучно играют дети на крохотном школьном стадионе, прислонившемся к фабричной стене, и как большие круглые часы над стеной останавливают время.

А зелень деревьев!..

А небо!..

А счастье одинокого мига!..

Завидуйте мне, господа! Я скоро увижу Фудзи!

6

Однако автору следует честно признаться, что, кроме знаменитой Фудзиямы, он ждал и жаждал увидеть вблизи другую вершину, от которой жизнь и судьба его зависели в гораздо большей степени, нежели от спящего вулкана. Этой вершиной и одновременно вулканом, причем вовсе не спящим, а безусловно действующим, был не кто иной, как Георгий Александрович Товстоногов, художественный руководитель Академического Большого драматического театра имени М. Горького, в чьей монаршей воле было приблизить к себе, то есть к настоящей славе, подручного искателя или же, наоборот, задвинуть и отдалить. О, как много вопросов артист Р. хотел обсудить с Мастером, имея в виду не только свое, но и общее с ним прекрасное будущее у костра бессмертного искусства.

И точно так же, как он, ждали и жаждали такого свидания очень многие члены творческого коллектива, не в меньшей степени озабоченные собственной судьбой и столь же зависимые от хорошего отношения к ним своего Отца и Наставника.

Отец же задержался дома, и в Токио его ждали с неба, т. е. самолетом, лишь к моменту окончания нашего земноводного путешествия.

Хотя это и общее место и само собой разумеется, но вдумчивый читатель должен помнить и понимать, что каждый артист всю жизнь проводит в выяснении отношений со своим режиссером, даже и тогда, когда не беседует с ним, а всего лишь попадается ему на глаза. Потому что и случайный взгляд на артиста событие, т. к. является напоминанием театральному Вседержителю о бедном грешнике, напоминанием, от которого может зародиться здравая мысль о его недооцененных или недоиспользованных пока актерских возможностях.

И правда, один вид актера может превратиться в живой упрек Мастеру и разжечь в нем вспышку заботы. Иной раз и нескольких молчаливых встреч или двух-трех "здравствований", произнесенных со скромным достоинством, может оказаться довольно, чтобы получить новую роль. А всякая роль - это путь к творческой радости и лучшему положению...

Впрочем, если последняя роль не удалась, актер превращается в наглядный пример неудачи, и встреча с ним рождает негативные эмоции, а Мастер в своем великом труде должен быть всегда прекраснодушен и радостен...

Жизнь артиста - вечная тревога и вечный вопрос: смириться или бунтовать? Не бывает ни одного члена труппы сверху донизу,

который был бы постоянно удовлетворен и не нервничал: "слишком много играю, везу воз за других" или "слишком мало играю, могу растерять зрителя". Даже самые благородные и любимые, с довольной улыбкой на челе, внутри себя все обсуждают и обсуживают свое непостоянное положение. И так до конца, пока, как говорится у классика, "положат тебя и лежи" - вот до этого последнего "положения".

Впрочем, и тут непокой у администрации и окружающих - куда положить: в Пантеон, на Литераторские мостки, на Волково, или Богословское, или по соседству с Ахматовой, в Комарово, или, как Пашу Луспекаева, в поселке Парголово, на рядовое и отдаленное Северное...

Ну, конечно, бывают и исключения, не подлежащие общим правилам и не подверженные случайностям: когда ты всенародный гений или член царствующей семьи. Или и то, и другое одновременно...

И это вечное выяснение отношений происходит независимо от воли актера и безо всякого явного участия второй стороны, т.е. самого руководителя. Каждый лицедей частенько пробуждается среди ночи и пытается толковать свои сны, в которых, как любимый герой, постоянно участвует его театральный Вождь и Учитель. Даст ему Гога эту роль или не даст, ту ли роль он прочит ему или вовсе иную, и почему ее, долгожданную, наконец получил совсем другой артист, а не он, единственный и самый достойный.

А тут еще - зарплата и премия...

А тут еще - зарубежные гастроли...

А там, глядишь, и представление к награде или званию - мало ли что?..

И во всем этом - "Гога сказал..." или "Я спросил, а Гога ответил", "Гога уехал", "Гога приехал", "Гога заболел", "Гога выздоровел", и так далее, и тому подобное, но всегда неизменно и постоянно: Гога, Гога и Гога...

Зоркие наблюдатели следили за большими гардеробными соревнованиями ведущих артистов за почетное место вблизи Гогиного плаща. Со стороны это может показаться пустяком, но в стенах театра пустяков не бывает. Чем ближе крючок и вешалка члена коллектива к крючку и вешалке Мастера, тем уверенней сосьетер в своем лучезарном будущем.

Долгое время Гога вешал свое верхнее платье в глубине гардероба, где находилась дверь, ведущая за кулисы. Сюда и потянулись пальто и плащи "народных", "заслуженных" и "лауреатов". Но однажды Мастер неожиданно сменил ориентир и водрузил свое изящное полупальто у самого входа со двора, там,

где обычно отвисались пальтишки "второй категории", никчемные плащики пришлых и "разовиков".

Это произвело шоковое впечатление на многих, и хотя тема занимала умы, но, по негласному договору, считалась "закрытой"...

Именно это обстоятельство, думаю я, имел в виду Константин Сергеевич Станиславский, когда сказал свою знаменитую фразу: "Театр начинается с вешалки!". А наш Гога был верным последователем Станиславского...

Гога еще летел в самолете, а нас распределяли по соответствующим положению этажам...

Когда в вестибюле отеля возникло броуново движение и зазвучали первые имена вперемежку с номерами, из уст в уста пронеслось сообщение о том, что ввиду возможных провокаций выходить за пределы "Сателлита" пока не советуют...

Решение гастрольного генштаба лично до меня довел секретарь партийной организации артист Анатолий Пустохин.

Как обычно, Р. стал задавать лишние вопросы:

- Что значит "пока"?

Толя не без юмора пояснил:

- "Пока" значит "пока". То есть до следующей информации...

- А что значит "не стоит"?

Стараясь не раздражаться, он перевел:

- "Не стоит" значит "не рекомендуется".

Но я не угомонился:

- Толя, - сказал Р., - ты - начальник, объяви в повелительном наклонении: никуда, мол, не ходите. И тебе проще, и нам...

- Нет, Володя, - отвечал Толик с холодной улыбкой, взглянув по сторонам и призывая окружающих в свидетели моей тупости, - повелительным наклонением мы не пользуемся. Мы только рекомендуем или не рекомендуем. В данном случае не рекомендуем. Вот и все...

И отошел к руководящей группе...

Кажется, именно так вел себя ленинградский обком, принуждая Товстоногова самому решить вопрос о судьбе крамольной "Римской комедии" Зорина: после того как спектакль был снят, не дожив до премьеры, одни говорили, что он попросту запрещен, а другие - что всего лишь "не рекомендован"...

Вообще говоря, против Толи Пустохина я ничего не имел. Скажу больше, если бы он жил хотя бы через стенку, я бы ему даже симпатизировал, как симпатизировал его предшественнику на посту парторга артисту Евгению Горюнову.

Единственное, что мне не слишком пришлось по душе, так это то, что Толя поселился в нашей насквозь аполитичной

гримерке и занял в ней место Паши Луспекаева. Это произошло совершенно случайно и безо всяких с Толиной стороны претензий. Скорее всего, заведующий труппой Валериан Иванович Михайлов этим хотел выразить ему свое заведомое расположение, потому что размещение новых артистов входило в его компетенцию, но именно эта случайность поставила Толю Пустохина в трудное положение...

С Луспекаевым и Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа мы были стопроцентно беспартийны, а наш четвертый - Гриша Гай был даже счастливо исключен из партии. В нем одном и сохранились невыполотые ростки партийности, конечно, со знаком "минус". Скажу больше, Гай был отважно и благородно антипартиен и позволял себе такие тексты и анекдоты, которые в других гримерках, кажется, вряд ли можно было услышать...

До прихода Пустохина наша "каюта" имела экзотический вид и накапливала в себе особую ауру жизнелюбия и непринужденности. Создавал и определял ее, конечно, магический Луспекаев. Но, может быть, и остальных случай подбирал не без умысла...

Все наши стены и простенки, щелочки между портьерами и даже сами портьеры поверху были увешаны стендами и отдельными рамками с тысячью фотографий разных времен, на которых запечатленными на века оказались лица артистов, друзей, знакомых, родственников, а главное, женщин - любимых женщин Карновича-Валуа, начиная с той платной красавицы, с которой гимназист Сережа потерял невинность в 1916 году, и кончая далекими и недоступными дивами мирового кино. Сергей Сергеевич не раз водил меня на экскурсии по своему историческому прошлому, а я время от времени дарил ему оставшиеся не занятыми уголки и щели над своим зеркалом и столом.

К Карновичу-Валуа, высокому, породистому, красивому пожилому мужчине с прямой спиной и прекрасной лысиной, которую он для сцены частично укрывал наклейками или париками, захаживали порой, как он их сам называл, "племянницы", которых он продолжал неутомимо фотографировать и учить благородным манерам...

К Паше Луспекаеву шли откровенные поклонницы и скрытные корреспондентки...

К Грише Гаю, которого знали по фильмам, тоже жаловали подруги и подружки...

Признаюсь, что и у меня случались милые гостьи...

Словом, в нашей гримерке царил дух безупречно мужской и, я бы даже сказал, творческо-гусарский...

А когда на луспекаевском месте оказался Толя Пустохин, атмосфера стала постепенно меняться, потому что здесь уже пошла попутная уплата членских взносов, возникли беседы шепотом с приходящими извне товарищами, и поселилась торжественная недоступность чуждых нам секретов. Нет, не то чтобы Толик взялся нас перевоспитывать, для этого он был достаточно умен, просто, в соответствии с должностью, он не давал себе права быть с нами таким же открытым, как мы привыкли, и вместо одного стиля в гримерке стали вынужденно уживаться два...

За кулисами прямо говорили, что Анатолия Феофановича Пустохина театру рекомендовал Областной комитет, когда парторг-предшественник Женя Горюнов вдруг оставил семью и стал сокрушительно спиваться...

Горюнов был человек достойный и обладающий достоинством; если райком, горком или обком обрушивали на театр свои громы и молнии, Женя, как говорили знающие, все брал на себя, выгораживая театр и, тем самым, Гогу. Конечно, Р., будучи лицом беспартийным, подробностей не знал, но общее впечатление складывалось именно такое. А потом Женя начал спиваться, и обкомгоркомрайком счел нужным заменить парторга, наращивая и укрепляя свое влияние на театр...

Родители Горюнова служили по дипломатической части, и в паспорте у него "местом рождения" значился Париж. По одной версии, Женя окончил школу-студию МХАТ, а по другой - студию Больдрамта, но при всех условиях он был хорошо воспитан, успел многое прочитать и подавал большие надежды. А когда началась война, по воле великого случая, Женя с ходу попал в разведку...

Этот эпизод известен старожилам театра, но их становится все меньше и меньше, и поэтому, боясь, что он затеряется в волнах новейшей истории, я берусь пересказать его, как знаю...

Однажды, выполняя задание, Женина разведгруппа в составе трех человек столкнулась с немецкими разведчиками. Их тоже оказалось трое. И вот нос к носу сошлись трое на трое, и им ничего не осталось, как схватиться в рукопашную. Как на грех, тщедушному мальчиковому Жене достался огромный и матерый битюг.

Немец подмял Женю под себя и стал душить.

Дело шло к концу, язык вывалился, но товарищ, справившись со своим, оказался рядом и ударил Жениного битюга ножом в шею. Руки немца все еще продолжали давить Женино горло, и чужая кровь хлынула ему в рот. Чтобы не захлебнуться, Женя только и мог делать, что глотать и глотать горячее липкое пойло.

Он спасся от смерти, но вкус крови во рту был так ужасен,

что всю обратную дорогу Женю выворачивало наизнанку...

Когда разведчики добрались до части, старослужащие дали ему выпить стакан спирта - до этого Женя никогда не пил! - и он вырубился на целые сутки.

Назавтра снова тошнило, и снова его лечили спиртом. И снова... И опять... С тех пор пошло...

В театре работала актрисой его жена, Марина, дочь знаменитого александринского артиста Константина Адашевского; взрослел их сын. Только вот выпивка подводила...

А потом Женя Горюнов увлекся нашей новой гримершей и, по-фронтовому рискуя, сошелся с ней.

Таня была много моложе его и вдруг позволила все, о чем дома, в присутствии величественной тещи и строгой жены, Женя и подумать не смел. Она сама подносила ему рюмку, целовала его изящные руки, становилась перед ним на колени.

- Маленький мой, любименький мой, - говорила Таня, лаская теплыми ладонями его смятое интеллигентное лицо, и в ореоле ее нежности субтильный Женя снова начинал чувствовать себя защитником и мужчиной.

Поздняя любовь оказалась для него роковой. Татьяна была девушкой рисковой и беспечной, искала всех радостей жизни, и они принялись веселиться вместе.

Некоторые ревнители нравственности предлагали Женю наказать, исключить из партии, уволить из театра, но, по преданию, Товстоногов им сказал:

- Горюнова не трогайте.

И его послушались.

Даже написали соответствующие бумаги в горисполком и выхлопотали для Жени с Татьяной комнату, хотя и в махровой коммуналке, но на Большом проспекте Петроградской стороны...

Скоро Таня из театра ушла и стала работать уборщицей в продуктовом магазине. А там - сами понимаете - винный отдел, свое окружение.

Горюнов продолжал ходить в театр, но изменился так, что смотреть на него становилось все труднее, и, инстинктивно исключая его из стаи, многие при встрече с Женей стали отводить глаза.

Наступила зима, и оказалось, что и ходить-то ему уже не в чем.

Тогда собрали деньги на зимнее пальто.

Порученцы взяли у костюмеров горюновские размеры, сообразили, что он еще больше усох и уменьшился по сравнению с тем, каким был раньше, сами выбрали фасон и сами пальто купили - вполне приличное, на ватине и с мутоновым

воротником, - не деньги же ему отдавать, деньги Женя все равно бы пропил...

Те, кто понес вручать обновку по адресу, вернулись в тоске, - такая там была бедность и тараканья пирушка...

Когда Евгений Горюнов умер, театр взял на себя похоронные расходы, но, по правде сказать, в крематорий пошли совсем немногие...

Лавров с Кузнецовым, отдавая последний долг, пошли.

И Юзеф Мироненко тоже...

7

Почему неизвестный обратился именно к Юзефу?..

Потому что Мироненко такой высокий и светловолосый, а незнакомец такой чернявый и маленький?.. Или оттого, что был поздний час, и именно Юзеф попался ему навстречу в пустынном холле?.. Как бы то ни было, пришелец принял его за начальство и стал в чем-то красноречиво и горячо убеждать.

Как показалось Юзефу, неизвестный говорил исключительно по-японски. Глядя на него сверху вниз, Юзик долго и вежливо слушал и даже несколько раз понятливо кивнул. Когда загадочный гость окончил монолог, Юзеф жестом велел ему остаться на месте и от портье стал звонить в номер переводчицы Маргариты...

Второй день мы жили в "Сателлите", осваивая близлежащий район и гостиничные правила.

Сперва, дружно напялив светлые кимоно, многие сошлись в холле, потому что здесь можно было набрать в номерной кувшин или холодную кипяченую воду, или крутой кипяток. В кимоно все очень понравились себе и друг другу, а некоторые, разыгравшись, защебетали якобы по-японски, и заходили мелкими шажками или тяжелой походкой, изображая гейш и самураев... Обслуга смотрела на нас, выкатив глаза, пока переводчица Маргарита не объяснила господам артистам, что наши кимоно - спальные, являют собой не что иное, как "ночные рубашки", и в них не стоит выходить в коридор...

Тогда все разошлись. Кто хотел выпить, выпил, а кто ждал случая с кем-то нежно объясниться, тоже рискнул. Тяжелая международная обстановка не могла на корню истребить железных гастрольных привычек и склонностей.

Только Вале Ковель сразу же не повезло: неловко повернувшись в японской тесноте, Вадим Медведев толкнул кувшин с крутым кипятком и страшно ошпарил ей руку.

Крик, раздавшийся из номера, был, по словам их соседки Маргариты, нечеловеческим, а точнее, звериным, и, когда, кинувшись на помощь, она в ужасе застыла на пороге, Вадим, инстинктивно снимая с себя часть ответственности, сообщил ей:

- Мы пролили кипяток...

Первое, что навзрыд стала шептать Валя, было:

- Как же я буду играть?! Мне надо быть обнаженной!..

Но придется ли нам играть, было еще совсем не ясно, и каждое утро, стараясь не привлекать внимания публики, Маргарита уводила Валю задами и везла на лечение и перевязку к

японскому хирургу, а Вадим, полный раскаяния и супружеской солидарности, ходил их сопровождать.

Рана оказалась глубокой, но, по счастью, хирург был чудодеем и успокоил бедную Валю, обещая применить для перевязки материал телесного цвета, такой, что публика ничего не заметит.

Так и случилось, и большинство коллектива узнало об этой драме позднее, так как ее решили держать в тайне, а тайну честно хранил узкий круг доверенных лиц. И все же руководством было принято решение расширить жизненное пространство супругов, и Валю с Вадимом переселили в соседние, но отдельные номера.

Вообще-то говоря, Маргарита была прикомандирована лично к Гоге, но прилетевшего только что Товстоногова вместе с сестрой Нателлой и ее мужем Лебедевым поместили в другой гостинице, ближе к токийскому центру, а Маргарите вместе со всеми достался "Сателлит".

При расселении Юзеф Мироненко был несколько обескуражен, так как обычно оказывался в паре с Иваном Матвеевичем Пальму, однако еще по дороге возникло опасение, что их могут разлучить, так как у Пальму на японских островах будут большие заботы по руководству труднейшей "четверкой", в которую входила непредсказуемая Шарко, и Юзеф на всякий случай решил подобрать себе другого напарника.

Исходя из того, что Мироненко был женат на одной из основных мастеров гримерного цеха, а впоследствии его заведующей Наташе Кузнецовой, подумали о другом мастере того же цеха - Тадеуше Щениовском. Но Тадеуш являлся лицом, давно и неисправимо курящим, тогда как Юзеф Мироненко окончательно бросил курить. Поэтому по дороге из Иокогамы в "Сателлит", спросив партийного разрешения у своего секретаря, Юзеф стал подбивать на совместное проживание Рецептера, приведя ему перечисленные мотивы.

В этом была некоторая логика, так как мы с Юзефом - однокурсники по Ташкентскому театрально-художественному институту имени А.Н. Островского, вместе начинали актерскую карьеру в Ташкентском русском драматическом театре, и именно я посильно споспешествовал его приходу в Большой драматический. Те, кто видел наш знаменитый спектакль "История лошади", несомненно запомнили Юзефа Мироненко в роли кучера Феофана и великолепное музыкальное трио "На Кузнецком узком на мосту", которое он исполнял вместе с Олегом Басилашвили и Евгением Лебедевым.

Не успел я согласиться с логикой расселенческих рассуждений Мирона (т.е. Мироненко), как возникло внезапное

сообщение о чуть ли не всеобщем попадании в "одиночки" - "Сателлит-отель" сбил подготовленную начальством линию "гражданской обороны" за счет обилия одноместных и противоестественного (для нас) дефицита двойных номеров, - и я, бесстыдный отщепенец, забыв о корпоративной этике, не смог скрыть своего животного ликования.

Потому что, прежде чем Р. завоевал священное право занимать на гастролях отдельный номер, он прошел большую школу испытаний на совместимость с Григорием Гаем, Михаилом Волковым, Изилем Заблудовским и Юрием Изотовым...

Гай, например, заботливо учил Р., уходя из номера, обязательно гасить свет...

Но вернемся к загадочному разговору Юзефа с японским пришельцем.

Итак, Юзеф позвонил переводчице Маргарите, красивой и приятной блондинке, которая уже спала или готовилась ко сну, что совершенно не меняет дела; для того, чтобы выйти из номера и спуститься в холл, ей понадобилось время, в течение которого неизвестный и Мирон хранили терпеливое молчание, проникаясь друг к другу необъяснимой симпатией.

С появлением в холле красивой Маргариты дело стало принимать соблазнительный оборот. Зажигательно повторенный пришельцем монолог в переводе с японского имел следующее содержание:

- Я - директор фабрики ковров, - сообщил таинственный гость, частично переставая быть таинственным, но продолжая еще больше интриговать. - Дела на моей фабрике идут очень неважно из-за непосильной конкуренции с ковровыми монополистами. Поэтому, а также по причине давней симпатии к русскому искусству я хочу сделать вашему театру выгодное предложение о покупке японских ковров...

Маленький фабрикант обещал, что даст возможность каждому выбрать именно тот ковер, о котором он мечтал всю предыдущую жизнь, даже не догадываясь об этом, и предлагал Мирону возглавить создание ковровых списков. Только вручив нам ковры и полностью завершив напоследок доброе дело, он позволит себе окончательно разориться и пасть под ударами монополистических гигантов. Как только Юзеф составит список, маленький хозяин разместит заказ на своей гибнущей фабрике, а когда мы вернемся в Токио из триумфальной поездки по островам Сикоку и Кюсю, ковры будут полностью упакованы и готовы к отправке на материк.

- А почем ковры-то? - глуховато спросил Юзеф.

Неизвестный отчаянно махнул рукой и, сдерживая слезы,

сказал:

- Юзико-сан!.. Ковры среднего роста - три на два метра - я отдам по семьдесят пять, а ковры большого роста - четыре на три метра - по сто долларов... Можно платить иенами тоже...

Переведя эту фантастику на русский язык, Маргарита Коробкова спросила Юзефа:

- Боже мой, почему так дешево?! - но свой вопрос переводить обратно на японский почему-то не стала.

Читателю, не пережившему наших времен, нужно объяснить, что ковры являлись в Советском Союзе еще большим дефицитом, чем продукты питания, а главное, стоили на несколько порядков дороже той смехотворной суммы, которую назвал прогорающий японец. Любители ковров записывались в самодельные списки и годами ожидали при магазинах своей очереди на покупку, а жители среднеазиатских республик, чье жилье просто немыслимо без этих традиционных украшений - чем больше в доме ковров, тем он красивей и богаче, - совершали за ними специальные охотничьи наезды в обе столицы...

Поэтому выросший в Ташкенте и потрясенный баснословной возможностью одеть в ковры свое низкооплачиваемое будущее, Мирон счел своим гражданским долгом довести японское предложение до ушей всего академического коллектива. Для этого он был готов даже рисковать. Вместе с Маргаритой он отправился на поздний прием к директору Суханову.

Разбуженный ковровой вестью Геннадий Иванович имел достаточный опыт зарубежных поездок, так как пришел к нам с поста директора Малого оперного театра и хорошо знал, во что могут у нас обойтись несогласованные решения. Поэтому, выслушав взволнованные речи Юзефа и Маргариты, он, в свою очередь, направился в номер к Анте Антоновне Журавлевой.

Анта Антоновна впустила Геннадия Ивановича, не чинясь, и приняла ковровый вопрос близко к сердцу.

Прогоняя сон, она немедленно запросила о встрече еще одного руководителя поездки, Юрия Алексеевича (или Александровича), который к сведению японцев представлял профсоюз работников культуры, а к нашему сведению - Комитет государственной безопасности...

Теперь вообразите ночную гостиницу "Сателлит-отель" на окраине Токио, погрузившуюся в тревожный сон ввиду сложнейшей международной обстановки, и скрытое от враждебных глаз движение коврового вопроса...

Приняв круговое положительное решение, собравшийся в полном составе штаб получил право выхода на художественного руководителя театра с целью последнего и решительного

согласования.

Кто взял на себя ночную отвагу звонить прилетевшему Товстоногову, не скажу, потому что не знаю. Но знаю твердо, что обойтись без его одобрения значило бы искривить законы внутренней жизни Театра, и этого не мог не понимать каждый штабник. Так осуществлялся принцип разделения политической и художественной власти в отдельно взятом Большом драматическом театре в нашу, теперь уже историческую эпоху...

Проведя летучее совещание, семейный совет, состоящий из Георгия Александровича, его сестры Нателлы Александровны и ее мужа Евгения Алексеевича, утвердил предложение генерального штаба поездки, и, получив окончательное "добро", Юзеф с Маргаритой пошли вниз на встречу с ковровым фабрикантом...

Я не стану описывать символическую и не требующую перевода сцену ночного рукопожатия между высоким и светловолосым Юзефом и малорослым чернявым пришельцем, вы легко представите ее; не стану входить в подробности продолжающегося штабного совещания, на котором рассматривались анкетные и другие данные Ю.Н. Мироненко, с тем, чтобы большинством голосов решить: ему или кому-нибудь более проверенному поручать составление списков и сбор наличных средств, но позволю себе перенестись во времени через одни с половиною сутки...

Через одни с половиною сутки дворик "Сателлит-отеля" чудно преобразился: обычное автомобильное его население раздалось и отодвинулось к стенам и углам, давая центральное место голубому фургончику знакомого нашего фабриканта. Вокруг фургончика, беспечно радуя глаз, вольно расположилось цыганское ковровое племя. Гости и впрямь были хороши, развернувшись плашмя на сером асфальтовом фоне: насыщенно-красные с черными вензелями; светло-желтые с коричнево-алым разводом; ярко-зеленые с неуловимым японским орнаментом; жаркие шары на белом фоне - все они, большие и средние, как сброшенные кимоно, лежали в удачном порядке, составляя единое поле и опьяняюще-яркий сюжет. Двор, декорированный будто для спектакля, стал похож на роскошную дворцовую залу...

Между праздничными коврами с озабоченным видом шагали мои дорогие коллеги, стараясь не наступить на царскую роскошь и не ошибиться в прицеле: выбирать можно было по вкусу, а заказывать - не более трех...

- Фантастика, - восхищенно шепнул Миша Данилов.

А Слава Стржельчик, чей выбор был затруднен отсутствием в поездке любимой жены, растерянно бормотнул:

- Это - хулиганство...

Особенно хорошо картинка смотрелась с верхних этажей, и, сделав свой случайный выбор - вот этот, светло-желтого поля, обширный и беспечный, - Р. не поленился подняться наверх, чтобы взглянуть на ковровый базар с высоты птичьего полета.

А в номере 636 телевизор "Victor" не уставал показывать цветочные венки на серой волне, живой погребальный ковер в память невинно убиенных...

Каждому ковру хозяин присвоил трехзначный индекс; скажем, ковер номер 475, или 348, или, допустим, 432.

Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное ФИО, назвать избранный ковровый индекс, или два, или три индекса, и по возможности без сдачи отсчитать иены, которые с самурайским лицом принимал вдохновленный задачей Юзеф...

Такое же суровое и беспощадное лицо было у него в спектакле Ташкентского русского драматического театра имени М. Горького, где я играл Гамлета, а он, будучи Лаэртом, врывался во дворец с толпой мятежников и требовал к разделке самого Клавдия, датского короля...

Это был его час, и все пришли на поклон к Юзефу: Макарова и Трофимов, Басилашвили и Аксенов, Малеванная и Волков, Демич и Толубеев; и Ковель с Медведевым пришли, несмотря на больную руку, и Николаева с Лавровым, и Нателла Товстоногова от имени всей семьи, и целиком доморощенное, и все приданное нам руководство - все стали в затылок друг другу, потому что каждый почел за благо оказаться в бессмертном ковровом списке.

А у нашего посольства толпа разъяренных японцев сжигала алый советский флаг...

Если сегодня пройти по нашим квартирам (ковры еще и дарились, и по бедности кое-кем продавались), то почти в каждой из них на стене или на полу можно встретить сентябрьский пестрый лоскут восемьдесят третьего года, тканый японский ковер имени Юзефа Мироненко.

8

Прилетевший в Токио Гога был нездоров: его мучила давнишняя язва.

Каждое утро переводчица Маргарита отправлялась к нему, чтобы на японском языке заказать диетический завтрак и помочь пообщаться с прогорающей фирмой "Сентрал бродкастинг эйджензи".

Глава ее, которого одни источники называют господином Хироси Окава, а другие, оставляя ту же фамилию, именуют Ешитери, что более приятно моему языку и слуху, пытаясь скрыть свои чувства, на самом деле был близок к истерике: трагедия, произошедшая с южно-корейским "Боингом", возмутила японскую публику настолько, что она объявила нам бойкот, и билеты на спектакли почти не продавались. Никто и ничто не могло освободить бедного Ешитери-Хироси от обязанности платить договорные суммы арендованным театрам и суточные всем нам...

Думая о гастролях, Товстоногов был готов, кажется, ко всему, кроме этого...

Еще в апреле он побывал в Японии с разведкой: осматривал сцены, встречался с театральными людьми, давал интервью, планировал встречи, подписывал договор на издание своего двухтомника. Профессор Икуко Сакураи, специалист по советскому театру, в свою очередь, успела слетать в Ленинград, перевести и издать по-японски "Историю лошади" - инсценировку Марка Розовского по "Холстомеру" - со своей статьей о спектакле и Товстоногове. В другой, роскошно изданной к гастролям книге - с твердым корешком, цветными и черно-белыми фотографиями и справками о ведущих артистах - Мастер обращался к будущей публике с прочувствованными словами:

"Дорогие японские зрители! Мы, ленинградский Большой драматический театр, с огромным волнением ждем встречи с вами. Мы везем на ваш строгий и взыскательный суд четыре пьесы четырех великих русских писателей. Мы верим и надеемся, что глубочайшие мысли, моральные и нравственные проблемы, заложенные в этих произведениях, тронут ваши сердца и чувства, воспитанные на великой литературе Японии..."

И вот накануне отплытия происходит другая, без тени театральности, трагедия, жертвенная кровь растворяется в соленой волне, текут неизбежные слезы, и не только Япония, но и весь мир начинает освистывать и проклинать нас как убийц и злодеев. И если посмеешь спросить: "Мы ли в том виноваты?!", получишь в ответ: "Вы!..".

Именно в эти дни и по этому поводу, с легкой руки артиста Р. - тут имеется в виду не персонаж гастрольного романа, а другой, заокеанский артист Р., по имени Рональд Рейган, - нас стали называть "империей зла".

Вокруг машин толпятся возбужденные люди, с открытых платформ на крышах микроавтобусов через мощные усилители истошно кричат полувоенные активисты: мы должны немедленно убираться домой, толпа взрывается дружным воплем, митингующих окружают полицейские с длинными дубинками и стальными щитами, а нас, забившихся в красный автобус, кружным путем везут на концерт в христианскую церковь Шебуйя.

Чтобы дать возможность покаяться?..

Или показать свое искусство?..

Чего от нас ждут в христианской церкви Шебуйя? И что в ней ожидает нас?

Даже Гога этого не знает...

Мы ехали мимо канала с крутым откосом, мимо стоящих вдоль него деревьев, густой травы и кустарника по склонам, мимо белых цапель на берегу...

Крест-накрест висели над водой мостки, и рыба была довольна жизнью так же, как рыбаки, которых не волновала ловля...

Дома косили под старину, а парки забывали о том, что они - японцы. Но мы были посторонними здесь.

Мы ехали мимо огромного города, вдоль старого канала, мимо крутого откоса и веселых цапель, а жизнь воды, домов и деревьев была так же безразлична к нам и нашим спектаклям, как и той кровавой истории, которая случилась над морем...

Ей-богу, я не знал, когда решусь подойти и что теперь скажу Гоге...

И он, и мы были рады, и встретились, как родные, и после щедрых объятий и бодрых поцелуев начался концерт. Не в храме, а в зале при нем, где все-таки собрались местные энтузиасты.

Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные!

Товстоногов поговорил о Станиславском и методе физических действий, Лебедев показал бессловесный этюд о рыболове, который мы знали наизусть, потому что он всегда его показывал... А мы стали играть отрывки из всех четырех спектаклей и, сидя за кулисами, ждать общего поклона.

Гога делился новостями, которые не застали нас на родине. Больше всего его поразило последнее интервью Любимова.

- Такого еще не было, - возбужденно говорил он, - Любимов сказал: "Мне 65 лет, я строю театр, а у меня один за другим

снимают три спектакля!.. Сколько еще я должен терпеть?!. Так больше продолжаться не может, и мириться с этим нельзя!..". Все в таком тоне!.. Как ультиматум!..

Мне казалось, что Товстоногов полон сочувствия к Любимову и целиком на его стороне...

Его слушали почтительно и молчаливо. Лавров, к которому больше других апеллировал Гога, тоже молчал.

И Мастер несколько переменил тон.

- Конечно, Любимов зашел слишком далеко, - рассудительно сказал он. - Он мог жить у жены в Венгрии, там у нее свой дом, и ездить, ставить...

Он опять взглянул на Кирилла, но тот снова промолчал. И тогда Гога не очень уверенно добавил:

- Я уже не говорю о политической стороне...

Читателю, не пережившему наших времен, следует понять, что если кто и молчал в ответ на Гогин рассказ о последнем интервью Любимова, то не обязательно от одного того, что осуждал диссидентские выпады Юрия Петровича или не разделял Гогиного сочувствия опальному режиссеру. Просто вокруг были свидетели - наши, не совсем наши и вовсе не наши, и молчание в таких случаях стоило дороже японской валюты. А ведь у нас была целая группа сопровождения. Не говоря уже о "своих".

Кстати, "своих" знали практически все. И "свои" знали, что их знают. Но это никого не смущало. Это входило в предлагаемые обстоятельства. Товстоногов, как многие умные люди, думал, что "чужих" и "своих" можно хорошо использовать в качестве канала информации. Или, вернее, дезинформации. Поэтому Гога и сказал такую маскировочную фразу, якобы с точки зрения тех, кому интервью Любимова по всем приметам не должно было понравиться: "Я уже не говорю о политической стороне...".

Однажды за границей он отвел в сторону Эдика Кочергина и назвал ему поименно всех, кого, по его информации, следовало остерегаться.

А Эдик Кочергин как-то по дружбе назвал их мне.

Но я и не подумаю называть имена. И не потому, что не испытываю доверия к читателю, а потому, что это будет уже совсем другой жанр, и никому от этого легче не станет. Тем более теперь...

И все-таки, хорошо зная "своих", Гога иногда забывался, потому что ему были необходимы близкие люди и единомышленники. В отличие от Любимова у него не было жены в Венгрии. Впрочем, в Союзе тоже. Долгие годы жизни настоящей жены у него не было...

Со времен "Генриха IV", когда мое детище, роль беспутного

принца Гарри, уже на генеральной репетиции была у меня отнята - эта история частично рассказана в повести "Прощай, БДТ!", - наши отношения складывались, мягко говоря, непросто, но именно теперь дело будто бы начинало двигаться на лад: во-первых, вот уже двадцать лет как я служил в его театре, а во-вторых, он, вроде, начинал смиряться с моими претензиями на режиссуру.

Потепление возникло после премьеры "Розы и Креста", которая подоспела к столетию со дня рождения Александра Блока, то бишь в одна тысяча девятьсот восьмидесятом году.

Неважно, чего это мне стоило.

И неважно, ради чего я это делал...

Или все-таки важно?..

Ради театра?..

Ради Блока, чью "радость-страданье" испытал на собственной шкуре?..

Или, во что легче всего поверить, ради себя самого?..

Остановимся на последнем: роль Бертрана, "рыцаря-несчастье", поманила артиста Р., и он принялся рыть землю, еще не понимая, что ему сулит эта затея...

Ради Блока или ради Бога... Стоп...

Только без рифм!..

По предварительному условию, "Розу и Крест" я должен был ставить безо всяких материальных расходов со стороны театра, то есть действительно "ради Бога", именно так, как похоронили несчастного Евгения в "Медном всаднике"...

Зайдя как-то в "предбанник" перед Гогиным кабинетом, где в прежние времена царственно секретарствовала Елена Даниловна Бубнова, потом - Татьяна Мосеева, в замужестве м-с Т. Чемберс (Лондон, Великобритания), а все последние годы талантливая и эксцентричная Ирина Шимбаревич, я увидел Мастера, одиноко восседающего на месте собственного секретаря.

Оценив ситуацию, я совершенно серьезно попросил Гогу доложить Товстоногову, что артист Р. давно ждет, когда наконец Георгий Александрович позовет его поговорить о Блоке; время идет, и юбилей не за горами...

- А вот я вас зову, - хмыкнув, сказал Гога и, встав с секретарского места, растворил передо мной заветную дверь.

- Садитесь, - сказал он, когда мы вошли, и, закурив очередную сигарету, в убедительном монологе развернул передо мной жуткую картину финансово-экономической катастрофы, в которую ввергли театр последние постановки.

Неисправимые бреши в бюджете пробили, оказывается, не только дорожавшие по мере пошива шикарные костюмы к

"Волкам и овцам" по эскизам Инны Габай, жены Эдика Кочергина, но и разнокалиберные цельнометаллические трубы, которые подвешивали к колосникам по эскизам самого Эдика. Трубы оснащали и повышали образную патетику юбилейного спектакля "Перечитывая заново", в котором, по идее Г.А. Товстоногова и Д.М. Шварц, соединялись ударные фрагменты из произведений разных авторов, в течение всех советских лет рисковавших вывести на сцену или показать на экране образ вождя. Потому что прежде чем отмечать столетие со дня рождения одного из основателей первого советского театра А.А. Блока, нужно было отметить стодесятилетие со дня рождения основателя первого советского государства В.И. Ленина. Не было бы Ленина - не было бы государства, не было бы государства - не было бы у него и первого театра. Тут, как говорится, "у матросов нет вопросов...".

Но этого мало. Препятствием к материальному обеспечению "Розы и Креста" было то неоспоримое обстоятельство, что производственный план 1980 года был практически выполнен, а все его "лимиты" исчерпаны. Тем более что включенный в этот план югославский режиссер Мирослав Бе'лович (ударение на первом слоге), повторявший на нашей сцене свой белградский спектакль по пьесе Марина Држича "Дундо Марое", написанной монахом-расстригой в 1550 году, тоже размахнулся на дорогущую сценографию и пышные костюмы.

- Таким образом, - заключил Георгий Александрович, - как вы понимаете, Володя, блоковская постановка возможна только, что называется, за зарплату.

Имелось в виду, что режиссерский гонорар мне не грозит. Но это меня не пугало. Хуже было другое.

Я кивнул, давая понять, что общая ситуация ясна, и после скромной цезуры констатировал:

- Итак, ни на художника, ни на композитора денег нет.

- Нет ничего, - довольный моей понятливостью, сказал Гога.

"Из ничего не выйдет ничего", - заметил Шекспир, но я не стал произносить вслух афоризм трехсотлетней давности.

К этому моменту я непредусмотрительно встретился с Валерием Гаврилиным, прочел ему пьесу и поделился постановочной идеей.

- Весна - это такое сумасшествие, - задумчиво сказал мне Валерий. - Может быть, четыре гавайские гитары?.. Электро... Такое сумасшествие, Господи! Конечно, это надо делать...

Но так как денег на Валерия Гаврилина и гавайские гитары у театра не было, Гога о нашей встрече не должен был знать, и кандидатура Гаврилина автоматически отпадала.

- Может быть, предложить бесплатную работу по костюмам

Ольге Саваренской? Художница начинает карьеру, и о ней хорошо отзывается Эдик Кочергин, вопросительно произнес я.

- Да, но только не от имени театра, - ответил Мэтр, - предложите ей внеплановую работу, быть может, ее привлекут обстоятельства престижа.

Я понимал, что лезу в петлю, но только обстоятельства юбилея давали мне тихую надежду на будущее, потому что в наши времена слово "юбилей" имело магическое действие на всяких, в том числе даже и на партийных чиновников. Важно было по наполеоновскому принципу ввязаться в бой, а там видно будет...

- А с актерами вы поговорили? - прервал мои размышления Гога.

Имелось в виду, что и актерское участие в репетициях должно было быть практически добровольным.

- Я не приступал к распределению до встречи с вами, но, очевидно, могу рассчитывать на Заблудовского, Мироненко, Данилова... На себя, - сделал я предварительную заявку.

- Ну, эти не откажутся, - согласился он.

Так я зарезервировал за собой рискованное право и ставить, и играть.

С этого дня мы встречались более или менее регулярно.

9

- Черт меня дернул дать интервью "Советской России"! - сказал Р. Юре Аксенову, сидя на низкой скамейке среди тропической зелени детского парка Каракуэн. Они только что вернулись из пешего похода по Акихабаре, большой торговой улице, отнимавшей у бездельного коллектива деньги и силы. Прежде чем браться за консервы, хотелось отдышаться на японской природе.

- Да, - согласился Аксенов, - это было непредусмотрительно с твоей стороны.

Р. продолжал готовить себя к разговору с Гогой...

Сравнительно недавно в "Советской России" появилась на редкость ругательная статья о БДТ молодого критика Ирины Вергасовой, которая привела в ярость нашего Мэтра. Он даже куда-то звонил и на чем-то настаивал, мгновенно назначив газету и критика "врагами No 1".

Молодой театровед Вергасова была хороша собой и еще с институтских времен известна в художественных кругах как девушка андеграундная и эксцентричная. По рассказам очевидцев, она могла появиться на занятиях чуть ли не наголо стриженной, в редкой сетке на голое тело: сквозь отверстия сетки эпатирующей двустволочкой выстреливали оба соска.

Ирина Вергасова откровенно не принимала ничего академически выверенного, житейски-благополучного и признанно-государственного. Этой ее ориентацией и воспользовались недоброжелатели из газеты, чтобы нанести коварный удар якобы не по идеологии, а по эстетике Большого драматического...

- Расскажи Гоге, пока тебя не опередили, - напомнил Юра, - и учти, что после "России" была "Правда"...

И правда. После на редкость ругательной статьи Вергасовой в "Советской России" появилась на редкость хвалебная статья Строевой в "Правде", а в статью Строевой в "Правде" специальным попечением был введен на редкость ругательный абзац про "Советскую Россию" и Вергасову. И поскольку "Правда" являлась центральным органом центрального комитета, то Георгий Александрович мог считать честь театра восстановленной, а себя удовлетворенным.

Но Гога этого случая не забыл.

И вот, не учтя всех обстоятельств или из алчного желания славы, Р. поделился с корреспондентом враждебного органа своими незрелыми мыслями, и теперь любой недоброжелатель

уже по одному факту данного интервью получал возможность представить артиста Р. изменником и перебежчиком в стан врага...

Вступив на скользкий путь режиссуры, нужно было освоить такой предмет как театральная политика, которая совершенно сродни политике государственной и даже международной, и, если бы не советы Юры Аксенова, на которые он не скупился в Японии, я бы, конечно, чего-нибудь наворотил. Но Юра даже репетировал со мной будущие диалоги с Мэтром, играя его роль и подсказывая мои возможные реплики.

В диалогах с Аксеновым даже мне, дураку, стало ясно, что лучше бы этого интервью было не давать.

Хотя, конечно, еще бы лучше эксцентричной Вергасовой своей статьи вовсе не печатать. Велась же с ней профилактическая работа.

- Зачем тебе брать БДТ? - спрашивала Ирина Шимбаревич, ее однокурсница, целиком посвятившая себя театру и Мастеру. - Это же не твой театр!.. Твой анализ ничего БДТ не даст, никакого блага... У тебя острое перо, пиши о подвальных студиях, пиши об униженных и обиженных, о тех, кто тебе нравится... Тебя оскорбляет не эстетика, а уровень жизни...

- Я на это смотреть не могу, - отвечала непримиримая Вергасова, имея в виду всех нас. - Адреналин выделяется...

У Товстоногова тоже начал выделяться адреналин, потому что наш импрессарио, господин Ешитери Окава, по причине зрительского бойкота в Токио, никак не мог принять решения о начале гастролей и, более того, вознамерился прекратить выплату суточных. Возможно, его смущали моральные обязательства перед японской общественностью или кто-то оказывал на него скрытое давление, но, главное, стоило ли открывать занавес в огромном зале "Кокурицу Гокидзё", где дает свои представления знаменитая труппа "Кабуки", если на наши первые спектакли продано всего по тридцать-сорок билетов?..

Когда слух о намерении г. Окава прекратить валютные поступления в карманы гастролеров достиг ушей Товстоногова, он не на шутку рассердился и сказал, что это - "саботаж".

О его реакции доложили бедному Ешитери.

Тогда он приехал к Гоге и, перестав сдерживаться, заплакал крупными слезами. Рыдая, он через переводчицу Маргариту поведал о том, какие страшные убытки терпит фирма и насколько она близка к настоящему разорению.

Вообще это было не очень по-японски, потому что плакать взрослым мужчинам на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю не положено, но дело зашло так далеко, что Ешитери

ничего не мог с собой поделать и на глазах у Гоги, Анты и Маргариты всхлипывал, как маленький ребенок.

Собравшиеся стали утешать Ешитери и обсуждать, чем ему можно помочь.

Наконец решили звонить в посольство и все вместе отправились к чрезвычайному и полномочному послу СССР в Японии В.Я. Павлову. И уже вместе с Павловым принялись названивать в Москву, в Госконцерт и Министерство культуры с просьбой, во-первых, разрешить показ одного из спектаклей по японскому телевидению без дополнительной оплаты Госконцерту, что даст возможность г. Окава хотя бы частично покрыть безнадежные убытки, а во-вторых, в срочном порядке выделить ему дозу советского цирка и порцию Большого Балета, ибо только с их помощью бедный Ешитери мог поправить свое отчаянное положение.

О цирке обещали подумать, и разрешение на одноразовый безвозмездный телепоказ было дано...

Но мы с Аксеновым всего этого еще не знали. Мы сидели на лавочке в детском парке Каракуэн, напротив нашего "Сателлита", и, как заведенные, токовали о тайных пружинах управления театром и умении себя вести.

- В чем ошибка Вадима Голикова, почему его не приняли в Комедии? спрашивал Юра и рассудительно отвечал: - Потому что руководить театром - это другая профессия, отличная от профессии режиссера... Вообрази сцену... В Комедии идет репетиция, в зал входит директор театра Янковский, смотрит на декорацию и говорит: "Это оформление плохое, оно не пойдет". А Вадим отвечает: "Михаил Сергеевич, выйдите вон из зала!..". А Янковский тут же Вадиму: "Я вас увольняю!..".

- Здорово.

- Да, здорово, - согласился Юра. - А требовать от худсовета звания для жены? У нее же нет театрального образования... Худсовет отказывает, и Вадим вступает в конфликт с худсоветом.

- Жена есть жена, - сказал Р. словами Чехова и спросил: - Может быть, там все не так просто?

- Может быть, - сказал Юра. - Но главный режиссер должен понимать, к чему ведут его поступки. Зачем наживать себе врагов? Они и сами найдутся.

Мы помолчали.

- Я могу руководить театром, - твердо сказал Юра и открыл свои методологические тайны. - Во-первых, нужно выбирать хорошие пьесы, во-вторых, приглашать других режиссеров... Нужно организовать работу театра... Я не обсуждаю постановки Вадима, он - человек талантливый, но он не организовал работу

театра, то есть не проявил себя главным режиссером, понимаешь?..

- Понимаю, - сказал я. - Понять несложно. Сложно организовать работу... И хорошо поставить... Поставить, по-моему, самое сложное...

- Это другой вопрос, - сказал Юра, рассматривая большой черный мотоциклетный шлем, который он только что нашел под кустом в детском парке Каракуэн. Японский мотоциклист, носивший эту каску, видимо, пару раз налетал головой на столбы, но она сохранила ему жизнь и сама неплохо сохранилась. По-моему, Юра задумал взять ее в Питер. Если подновить краску на шлеме, он мог вполне пригодиться для нескольких лобовых встреч с нашими столбами...

Здесь же и не откладывая, необходимо внести существенные добавления, так как сведения о В. Голикове и его взаимоотношениях с директором и коллективом, полученные в парке Каракуэн, могли иметь односторонний характер. Известно, что приход нового главного режиссера - крупнейшее событие в жизни всякого театра, и театра Комедии в частности. Поэтому многие его старослужащие теоретически должны были искать и находить Юру Аксенова, с тем чтобы во имя своего светлого будущего засвидетельствовать ему свою изначальную преданность и навешать на уши полновесную домашнюю лапшу.

Поэтому, вернувшись на материк, автор решил перепроверить информацию и задал прямые вопросы о двух вышеупомянутых эпизодах непосредственно Вадиму Голикову.

Действительно, отношения Голикова с им же приглашенным Янковским вскоре после начала совместной работы стали портиться и испортились вконец, но, по словам самого Вадима, они никогда не были настолько вульгарны и анекдотически примитивны. А все диалоги, даже самые острые, велись Вадимом и Михаилом Сергеевичами в абсолютно корректной и цивилизованной форме.

Задать тот же вопрос самому М.С. Янковскому у автора нет никакой возможности по самой жестокой и непоправимой причине.

Что же касается жены Вадима Милочки Оликовой - ее сценический псевдоним усеченная на одну букву фамилия мужа Голикова, - то в действительности был лишь один эпизод, когда, в числе других претендентов, она была представлена не к званию, нет! - а всего лишь к увеличению зарплаты на пять или десять рублей, что привело бы ее к счастливому переводу в более высокую актерскую категорию, причем в момент голосования именно ее кандидатуры Голиков демонстративно и

принципиально покинул заседание худсовета, что и привело к вполне демократическому завалу Милочки Оликовой и непредоставлению ей искомого повышения ставки.

Конечно, Вадим и здесь поступил как интеллигент, что вызвало нарекания друзей и знакомых, назвавших его поступок идеализмом и глупостью.

Но на этих двух примерах (директор Янковский и жена Милочка) мы снова могли проследить, как незначащие события театральной жизни в устах заинтересованных лиц легко превращаются в анекдот или даже в легенду. Поэтому автор и стремится всякий раз передать объем и воздух события, если и не приводя весь путь от факта к апокрифу, то давая хотя бы его исходную и заключительную стадии.

- Понимаешь, Володя, - наставлял меня Юра Аксенов еще на "Хабаровске", пригнув голову и стаскивая с себя свитер в тесной каюте четвертого класса, Гога должен узнавать о тебе только от тебя самого!.. И о Пскове, и о Ташкенте. - Имелось в виду то, что к этому моменту Р. были предложены постановки в двух городах, и он собирался просить разрешения на обе. - Ты же знаешь, как ему могут преподнести самый безобидный факт?..

- Знаю, - вздыхал я, ожидая своей очереди на раздевание в камерном кубрике.

Мы оба пытались заглянуть в наше вероятное будущее, которое, несмотря на Японию, было скорее темно, чем прозрачно. Во всяком случае, у меня.

- Я ни о чем не жалею, - говорил Юра, осторожно укладывая свою крупную плоть на узкий матросский рундучок, - но театр я мог получить десять лет назад. Да, лет десять, не меньше...

- Зато у тебя опыт, - слабо возражал Р., балансируя на одной ноге и борясь с узкими джинсами, - ты столько ездил, столько с ним работал...

Если бы Юра не был назначен на высокую должность и не уходил бы от нас, он ни за что не стал бы откровенничать со мной, а только молчал бы, как сфинкс, и улыбался. Но он уходил, и ему хотелось подвести какие-то итоги.

- Главное, я его ни о чем не просил, - сказал Юра, - он всегда сам вызывал меня. Вызывал и предлагал работу...

А мне предстояло просить. Причем, просить особого положения. Чтобы уехать на две недели или хотя бы на десять дней, нужно было сперва добиться, чтобы расписание спектаклей было составлено в мою пользу, и мои коллеги играли бы за меня.

"Мало того, что артист занимается не своим делом, он и подрабатывает на стороне, а мы должны играть за него. С какой стати?.."

Конечно, таких рассуждений было не избежать, но, с другой стороны, театр всегда шел навстречу артисту, если ему выпадала хорошая роль в кино. И расписание составлялось гибко. Смотря чьи интересы учитывались...

- А рекомендовать тебя главным режиссером Комедии ты Гогу не просил?..

Юра глубоко вздохнул, и мне пришлось задать вопрос по-другому:

- Это он помог тебе с театром Комедии?

- Да, - сказал Юра. - Но мог бы сделать это гораздо раньше...

"Хабаровск" мелко подрагивал и напрягался. В каюте было жарко, и, глубоко вздохнув, Аксенов пояснил:

- Без Гоги в городе театра бы не дали. И Владимирову театр устроил Гога... И Корогодскому... И Агамирзяну... И Голикову. И Падве.

- И тебе, - напомнил я.

- Да, и мне, - теперь уже довольно согласился Юра. - Обком почти никогда без него не решает, какой кому театр отдавать...

- Кроме Александринки? - уточнил я.

- Да, кроме Александринки, - подтвердил Юра. И добавил: - Расскажи ему об интервью. Не давай себя опередить... Спокойной ночи.

В темноте, за тяжелой волной, медленно и навсегда уходил от нас остров Осима.

Теперь Гога был с нами, и жизнь всем скопом, без спектаклей и репетиций, в атмосфере тревог и неясности, в виду сотен тысяч обещанных иен и тьмы японских возможностей казалась невиданным приключением и рождала чувство лунной невесомости.

Тут скорбящая фирма надумала показать нам новооткрытый "Диснейленд". Двумя группами нас повезли на берег моря, где сначала был создан насыпной полуостров, а потом на отвоеванном у воды пространстве раскинулась еще одна сказочная страна.

Вторая группа, не помещаясь в автобус, позавидовала первой, а первая осталась на второй сеанс. Но именно здесь, в выдуманном мире, среди искусственных прерий и рек, гор и водопадов, железнодорожных станций и индейских поселков, салунов и лачуг, дворцов и замков, среди ковбоев и горилл, гоблинов и призраков, волков и кроликов, слоняясь в толпе веселых туристов и беззаботных детей под флагом бессмертного Микки Мауса, Р. безвольно уносился назад, к цепким обстоятельствам предотъездных дней.

У космического павильона, оказавшись рядом с Нателлой

Товстоноговой, которая знала о нашей жизни если не все, то очень многое, я обратил к ней сверлящий меня вопрос: кто же из общих доброхотов догадался рекомендовать меня и Стржельчика в список доблестного антисионистского комитета?

- По-моему, мы никаких поводов не давали, - сказал я.

- Это не в театре придумали, - уверенно сказала Нателла и, конспиративно оглянувшись, добавила: - Но говорить об этом никому не надо.

- Но вы-то знаете, - сказал я.

- Знаю, - сказала Нателла. - И знаю, что вы отказались. Но вам в любом случае лучше молчать.

- Хорошо, - сказал я, - но они-то молчать не будут.

- Будут, - убежденно сказала Нателла. - Вот если бы вы согласились, они стали бы говорить.

Это было логично. Недаром Гога всегда советовался с сестрой.

- Может быть, - сказал я, - но, черт побери, до сих пор противно!..

- Не чертыхайся, - сказала Нателла, - и выбрось это из головы...

Я, конечно, понимал, что в великом театре Уолта Диснея о таких вещах лучше не думать, что здесь и сейчас надо попробовать отключаться от глупостей, но впасть в детство мне никак не удавалось.

У горных каньонов меня взял под руку Рома Белобородов и стал степенно склонять к решительному поступку. Оказалось, что и он осведомлен о предложении и отказе и советует мне по возвращении на родину вместо антисионистского комитета вступить в Коммунистическую партию Советского Союза.

- Сейчас - самое время, - сказал Рома, а веселый Микки Маус, оказавшись тут как тут, поочередно пожал наши руки. Можно было подумать, что он поздравляет меня с новым заманчивым предложением.

- Почему сейчас? - спросил я.

- Потому что пришла новая разнарядка, и нас просят принять десять призывников. - Теперь с нами здоровался улыбчивый заяц, и его манеры были безупречны. - Все легко пройдут, а вы - тем более...

- Что вы имеете в виду? - спросил я.

- Всё, - ответил Рома.

Роман был спокойным человеком и никогда не повышал голоса. Молодой, профессионально подготовленный, он был уверен в себе и по-настоящему перспективен. Рано или поздно он мог стать даже директором, если бы кадровики закрыли глаза на

его пятую графу.

- Вы ведь не ребенок, - сказал Роман, и я вынужден был с ним согласиться. - вы должны понять, что это расширит ваши перспективы, особенно режиссерские... Посмотрите на Кирилла Юрьевича. Разве ему как актеру мешает то, что он - член партии, а теперь и член ЦК?.. Нет, не мешает. А помогает это ему?.. Думаю, да. Вот и вам это никак не сможет помешать, а, наоборот, поможет. Вы же знаете, что я это говорю из уважения к вам.

- Спасибо, Рома, - сказал я, - может быть, вы и правы. Знаете, когда был жив Ефим Захарыч Копелян, он соседствовал в гримерке с Лавровым. И вот однажды они сидят друг к другу спиной, а в зеркалах им видны лица друг друга. Копелян смотрел, смотрел и вдруг говорит: "Да, Кира, мне бы твой нос, я бы такую карьеру сделал!..". Мне это Зина Шарко рассказывала... Не уверен, что смогу пригодиться...

- Сможете, Владимир Эммануилович, - сказал Роман. - Сейчас нужны именно такие люди, как вы. И если вы вступите в партию, то отказ от антисионистского комитета не будет иметь значения...

- Рома, - сказал я, - неужели вы говорите серьезно?

- Какая разница, Владимир Эммануилович, серьезно я говорю или нет? Отнеситесь к этому философски, и все будет хорошо...

Тут я заметил переводчицу Рику и предложил ей прокатиться со мной по "Замку призраков". Русского языка она почти не знала, но была так молода и хороша собой, что мне показались смешны американские страшилки, и мы с Рикой принялись хохотать, скользя на двухместной вагонетке мимо разверзающихся могил, плящущих скелетов и отрезанных женских голов.

Очевидно, не я один так устроен: чужие ужастики просто смешат нас, а свои призраки до ужаса страшны...

10

Чтобы отвлечь Гогу от черных мыслей и скрасить тоскливое ожидание, Ешитери организовал мэтру несколько платных лекций о театре в Нагое, Осаке и где-то еще. С одной стороны, все знали, что Мастер откладывает деньги на "мерседес", а с другой - кто лучше него может объяснить японцам, что такое метод Станиславского?..

Гога вернулся в Токио, несколько повеселев, и во время концерта в газете "Асахи" я рискнул провести с ним первый диалог, неукоснительно следуя наставлениям старших товарищей.

- Георгий Александрович, - заинтересованно спросил я, - как прошли ваши выступления?

- Хорошо, Володя, - откликнулся он, - но очень устал: душно, влажно...

- Вы рассказывали им про систему Станиславского? - продолжал интервьюировать я, готовя признание о своем интервью "Советской России".

- По-разному, - сказал он, - я не люблю говорить одно и то же. Где о системе, а где о нашем театре...

- А о "природе чувств" вы рассказываете? Я недавно перечитал вашу статью.

Мне всегда казалось, что литературные "негры" и научные редакторы ужасно сушат Гогину речь и темнят язык, и его статьи и книги не идут в сравнение с любой репетицией, где он всегда выступает живо и выразительно, но этого говорить было нельзя, во всяком случае, теперь, когда моя задача состояла совершенно в другом.

- Вам нравится? - серьезно спросил Гога, и я, не погрешив против совести, серьезно ответил:

- По-моему, "природа чувств" - самая актуальная тема сегодняшнего театра.

- Вы правы, - сказал он.

- Это вы правы, - искренне сказал я и круто сменил галс. - Да, кстати, вы, наверное, не обратили внимания до отъезда... Дело в том, что ко мне приходили за интервью из "Советской России"...

Мгновенно изменившись, Гога страстно и агрессивно перебил:

- Я бы не стал им давать!

- Да, георгий Александрович, - подхватил я, словно именно это имел в виду, - я тоже удивился, чего это они?.. А потом подумал: может быть, после выступления "Правды" они как бы

заходят с фланга, чтобы наладить отношения? Идут на попятный, а непосредственно к вам подойти боятся...

- Ах, так? - переспросил Гога, уже заинтересованно, и я стал развивать свою версию:

- Я сказал корреспонденту, что вряд ли они напечатают, а он ответил, что с начальством все договорено и даже дан "карт-бланш", а поскольку речь шла о режиссуре, было сказано о "Розе и Кресте" и о том, что репетиции Товстоногова - школа современной режиссуры... По-моему, они идут на попятный, - повторил я.

- Да, исправляются, - довольно подтвердил он. - Это хорошо. - И многозначительно добавил: - И хорошо, что вы сказали...

Посмотрев прогон "Розы и Креста", Эдик Кочергин сказал:

- Может получиться, только... с этими костюмами я спектакль не подпишу... Подбор не годится...

- Ну, вот, - сказал я, - как же тогда может получиться?

- Ты учти, - сказал он, - костюмы из его спектакля. Он к этому относится ревниво.

- Что ты предлагаешь? - спросил я.

- Надо заставить их раскошелиться! - решительно сказал Эдик, достав карандаш. - Я за день могу сделать чертеж... Так... Стол, да?..

И он стал набрасывать на белом листке, который догадливо положил перед ним помреж Витя Соколов.

- теперь... Табуреты, да?.. Вот такие... И спинки к табуретам, вставные, да?.. Вставки вот такие, видишь?.. Теперь, подсвечники, да?.. Как трезубцы... Видишь, уже стильно, да?.. Костюмы возьмем простые... Во-первых, свитера, да?.. Шарфы... Они преобразуются по ходу... Теперь... В табуретах отверстия для мечей... Ручки - крестовые. Мечи, как кресты, да?.. Вставим их в табуреты... Плащи, да?.. Мечи стоят тут же, плащи висят тут же... Вот так... Тысячи за полторы можно это сделать. - И он бросил карандаш на готовый рисунок. - Я пойду к Гоге и попробую его развернуть против директора...

- Здорово! - сказал я, - и, конечно, заманчиво... Но верится с трудом...

- Посмотрим! - решительно сказал Эдик.

Но его первый разговор с администрацией - до Гоги Эдик не дошел - ни к чему не привел. Вернее, привел к тому, с чего все и начиналось: необходимо избежать затрат. Уходя с этого свидания, Кочергин заявил, что если ему не дадут сделать то, что он хочет, то есть денег на воплощение задуманного, он спектакль не подпишет. Ситуация выходила патовая, но, учуяв будущее представление, Эдик взгрустнул.

- Понимаешь, Володя, я бы мог сделать еще один хороший спектакль, - стал размышлять он. - Жалко терять возможность.

- Понимаю, - сказал я, - а мне не жалко?

Тогда он сказал:

- Вообще-то можно заказать мебель рабочим как халтуру... Нет, они сделают нормально, только им надо заплатить, понимаешь?

- Понять нетрудно, - сказал я.

- Работа может обойтись рублей... Ну, в полтораста-двести... Если дадут материалы... Стол - тридцать пять, да?.. Это я беру на себя... табуретки, скажем, по червонцу, да?.. Штук двенадцать...

- Двенадцать - мало, - сказал я, - народу-то больше...

- Ну, шестнадцать... да?

- Эдик, - сказал я, лелея в груди возрождающуюся надежду. - О чем разговор? Что Бог пошлет - отдам...

- Ну, вот, - сказал он, - тогда попробуем таким путем... Не мытьем, так катаньем...

- Конечно, - сказал я. - "Розу и Крест" вообще никто не видел. Нет, вру. В Костроме, в двадцатых годах, несколько раз прошла... Мы будем - вторые.

- Да? - спросил Эдик.

- Да, - сказал Р. и добавил: - Юрий Бонди ставил и оформлял, брат Сергея, пушкиниста... У меня с братьями Бонди опять одни интересы: сначала "Русалка", теперь - "Роза и Крест"...

- Ладно, - решил Эдик, - к Гоге вместе пойдем.

Когда мы "взошли" в кабинет, у Мастера в гостях был Саша Гельман.

Гога был благодушен, и мы с Эдиком внесли свое предложение.

- А что?.. Скинемся! - весело сказал Мэтр. - Я тоже участвую. - И, показав на нас Саше Гельману, добавил: - Вот какие люди у нас в театре!.. Не перевелись!..

Но тут Эдик сказал:

- В этом случае я подписываю спектакль, и он мне засчитывается в норму, да?

- А-а-а! - громко и обрадованно протянул Гога, - вот оно что!.. А я думал, что вы абсолютно бескорыстны!.. Но зато это - честное признание!..

И все засмеялись...

Занятый в "Розе и Кресте" Женя Соляков как член профкома пообещал разбиться в лепешку, но обеспечить участие в "складчине" профсоюзных средств из графы "на культуру".

- Деньги "на культуру" пустим "на халтуру" и оформим "Розу и Креста". Да, да! - спел он Розенцвейгу на какой-то одесский

мотив.

Однако, узнав об этих планах, Суханов заявил Гоге, что не может допустить, чтобы творческие люди во вверенном его руководству БДТ "скидывались" на левую работу. Поэтому он предлагает нанять и оформить на пару сотен рублей какого-нибудь человека со стороны, который передаст деньги тем рабочим из наших мастерских, которые будут делать мебель по чертежам Эдика. Таким образом, Геннадий Иванович рисковал и даже шел на должностное преступление, чтобы сделать благородный вклад в юбилейный блоковский спектакль.

Оставалось решить вопрос о материалах, но далеко не все рифы были уже преодолены.

Однажды, выходя от Гоги, я столкнулся с директором и завпостом Куваринym. У них были решительные лица, и завпост, не успев плотно закрыть за собой дверь, тут же выглянул из кабинета и позвал меня за собой. Его тон мне не понравился.

- Садитесь, Володя, - строго сказал Гога и, повернувшись к Куварину, добавил: - Я слушаю.

- Георгий Александрович, - сказал Куварин официальным тоном, - я поговорил с Кочергиным. Оказывается, у него по "Розе и Кресту" десять позиций. Он хочет строить новые станки, покрывать сцену линолеумом, красить все в черный цвет, чертить и заказывать мебель и так далее... Мы тут подсчитали с Геннадием Ивановичем, во что это обойдется, - Володя повернулся к директору, и тот, поджав губы, кивнул, - получается три тысячи рублей...

Очевидно, цифра представлялась убийственной, взрывная реакция Товстоногова - неизбежной.

Я понял, что атака была подготовлена: по плану ни я, ни Кочергин не должны были участвовать в сцене. Подтекстом наступающей стороны было глубокое возмущение несоблюдением предварительной договоренности обнаглевшим Рецептером. Ему, мол, была разрешена постановка безо всяких затрат, а он, стакнувшись с Кочергиным, хочет запустить руку в театральный карман на целых три тысячи!.. Хорошо, что в театре есть люди, которые стоят на страже государственных интересов и не допустят беспочвенных посягательств...

Вообще-то говоря, Володя Куварин, в прошлом фронтовик, потом отличный макетчик, был человек мастеровой и дельный и неслучайно вырос при Гоге до положения заведующего постановочной частью. Просто он хорошо усвоил негласное правило: то, что ставит в театре Товстоногов, достойно материальных и трудовых затрат, все же остальное - никак нет. Особенно - малая сцена и всякие там сомнительные

эксперименты!..

К тому же Эдик Кочергин, сценограф блистательный и бескомпромиссный, а человек нервный и фанатический, придя в БДТ главным, стал предъявлять Куварину повышенные требования и, при поддержке Товстоногова, добивался своего.

В случае с "Розой и Крестом" появлялся хороший повод взять у Кочергина реванш: их то скрытая, то явная конфронтация с Кувариным длится, по-моему, по сей день и не имеет шансов окончиться при жизни.

Но главной причиной атаки на "Розу и Крест", на тот момент частично поддержанной директором, было, мне кажется, исторически сложившееся, корневое и в общем совершенно естественное нежелание русского мастерового делать лишнюю работу.

- Вы же договаривались, что спектакль ничего не будет стоить, - сказал Куварин, не глядя на меня.

И тут произошло чудо. Вопреки ожиданиям атакующих, Гога развернулся на сто восемьдесят градусов и принял нашу сторону.

- То есть как это спектакль ничего не будет стоить? - грозно переспросил он, глядя поочередно то на директора, то на завпоста. - Кто это вам сказал?..

В некотором замешательстве, однако и не без твердости в теноре, Суханов ответил:

- Это мне сказали вы, Георгий Александрович.

Куварин подтвердил:

- и мне...

Но Товстоногов не дал им опомниться.

- Да, - страстно сказал он, - мы договорились, что не покупаем ничего нового!.. Но это вовсе не значит, что ничего не будет сделано!.. Разве вы не понимаете, что придет зритель, и нужно ему показать СПЭК-ТАК-ЛЬ, а не халтуру!.. Если у Кочергина есть десять позиций, это значит, что он отнесся к делу всерьез!.. А если он отнесся всерьез, значит, и мы должны подойти серьезно и эти десять позиций ему дать!..

Гога молотил их железной логикой, и ему не потребовалось дополнительных аргументов. На моих глазах с Кувариным и Сухановым происходило чудо преображения, и, начиная со второй фразы монолога, они принялись согласно и дружно кивать ему в такт.

- Ну, да, - сказал Куварин,- конечно, работа будет сделана. - И предположил: - Ведь она будет засчитана на спектакль?..

- Разумеется, - удовлетворенно подтвердил Товстоногов и добавил: - Ведь если бы цеха не делали этого, они должны были бы делать что-то другое!..

- Конечно! - сказал Суханов.

- Вот видите, - сказал Гога, и, действительно, все увидели все гораздо яснее и как бы заново...

Оказалось, что у Володи даже есть наготове отличный план.

- Я думаю так, - сказал он, - 25 октября на Малой сцене пройдет последний спектакль, после чего мы разбираем старый станок и делаем новый, для "Розы и Креста". А когда театр вернется из Венгрии, можно будет уже до самого выпуска репетировать на новом станке.

Видя, что сопротивление полностью подавлено, Гога сменил тон и доверительно сказал директору:

- В министерстве как раз хвалят нас за то, что к блоковскому юбилею у театра будет свой спектакль.

- С кем вы говорили? - заинтересованно спросил Суханов.

- Только вот стол, - озабоченно сказал Куварин.

- Ну, что же? - живо переспросил его товстоногов.

- Свободен стол только из "Цены", - задумчиво продолжал Володя. - Но на нем же нужно лежать, - и впервые за всю сцену посмотрел на меня.

Тут, наконец, и я подал голос:

- Меня устроит тот стол, который устроит Кочергина. - Моя скромность просто не имела границ. - Кажется, стол из "Генриха" подошел бы. Его можно покрыть скатертью, а если будет длинен...

- Можно укоротить, - с готовностью подхватил Куварин. "Генрих" у нас уже не шел.

- Да, - развивал мозговую атаку Товстоногов, - сначала стол покрыт скатертью, во время читки по ролям, а потом скатерть снимается, и на сцене средневековый стол!..

- Это очень хорошо, - сказал Суханов, добавляя масла в костер занимающегося творчества.

- Ты скажи об этом Кочергину, - снова обратился ко мне Куварин, увлеченный художественной идеей.

Теперь мы все были единомышленниками и дружно махали крыльями вслед за Вожаком. Теперь-то было ясно, что все мы - одна стая.

Мы были одна стая, но не могли же мы летать всем скопом, и, пока никакой работы по-прежнему не было, шастали по японской столице в режиме туристических групп, путая искусственные "квартеты" и кто как мог. Начальство - и свое, и приданное - не то чтобы закрывало на это глаза, но было увлечено собственными задачами, о которых стае как бы не полагалось знать. Но, поскольку задачи у всех были пока одни и те же - побольше увидеть и получше отовариться, получалось, что почти любой знал о каждом, и каждый знал почти о любом. Собственно, в

обмене информацией о взаимных успехах и состояли безработные досуги. И хотя одни делились своими открытиями - мол, на станции Хорадзуки дешевая распродажа шуршащих курток, - а другие предпочитали партизанский молчок, все тайное неизменно становилось явным.

Еще Шекспир заметил, что "актеры не умеют хранить тайн и все выбалтывают", однако степени прозрачности актерской жизни за границей не мог предположить даже Шекспир. Наверное, потому, что не участвовал в заграничных гастролях и, по-видимому, никогда не был в Японии.

Надо отдать должное патриотизму советской колонии, которая не оставляла нас своим заинтересованным вниманием.

Здесь тоже нет-нет и сказывалось "классовое расслоение"; "первачей" разбирали посольские чины самых высоких рангов; артистов поскромней, но достаточно известных по кино- и телеэкранам - дипломаты среднего звена, а остальным приходилось ловить случайную удачу или довольствоваться "одиннадцатым номером", то есть своими ногами...

Впрочем - из песни слова не выкинешь - на японском транспорте старались сэкономить многие, стоило однажды обнаружить, какие капиталистические сувениры равняются в цене билету на метро. Несложный подсчет подсказывал каждому, что за сумма у него сохранится, если он отдаст предпочтение пешим походам тридцать, сорок, а то и пятьдесят раз. Эти подсчеты производились не только в уме, но звучали в убежденных репликах, так что любовь к ходьбе приобрела идейный характер и стала отличительной чертой нашего артиста за границей.

- Как пройти на Гинзу? - с милой улыбкой спрашивала японского городового актриса А., солидная матрона, пускавшаяся в путь с еще более солидной и возрастной актрисой Б. Вопрос, естественно, задавался с помощью жестов и четкой русской артикуляции, на что японский городовой отвечал по-английски, дважды или трижды употребляя опорные слова.

- Это далеко, лучше ехать на метро.

- Сэнкью, сэнкью, - говорила первая матрона, продолжая держать улыбку, и вторая помогала ей, удваивая северное сияние:

- Сэнкью, сэнкью!

Тут первая повторяла вопрос, помогая себе выразительными руками:

- Гинза, Гинза, это так - прямо, а потом - на-пра-во или на-ле-во?

- Плиз, плиз, - говорил вежливый полицейский и показывал прямо: - it is subway, station of subway Karakouhen.

И на глазах удивленного городового наши дамы

устремлялись в сторону, противоположную указанной, продолжая мерить японские версты красивыми в прошлом ногами...

На фоне всеобщей бережливости особенно эффектно выглядели те, кто позволял себе нерасчетливые поступки, например, Зинаида Шарко, которая просто потрясала угрюмые сердца некоторых сосьетеров и сосьетерш.

Представьте себе, она не только пользовалась японским городским транспортом, но и постоянно покупала в экзотических лавках фрукты, овощи и другие противоконсервные излишества.

- Что у тебя на столе? - устрашающе спрашивала ее одна из постоянных наставниц.

- Салат, - с обезоруживающей наивностью отвечала Зина.

- Нет, это не салат, - грозно одергивала ее доброжелательная оппонентка. Это валюта!.. Учти!..

А вторая, бегло оглядев жизнерадостный стол Зинаиды, рубила с плеча:

- Ты прожрала и пропила три с половиной пары туфель и десять пар кроссовок!..

- Да ты попробуй, попробуй, как вкусно, - пыталась сгладить идеологический конфликт беспечная Зинаида.

- Нет, ни за что! - отвергала соблазн бескомпромиссная прокурорша и перед тем, как хлопнуть гостиничной дверью, выносила окончательный приговор:

- Дура ты, Зинка! Тебя лечить надо! Настоящая дура!..

Вот почему артист Р. испытывал по отношению к Зинаиде чувство восхищенья и пытался ей подражать, хотя бы отчасти.

Р. не мог жаловаться на судьбу, так как уже в первое время стал попадать то в "тойоту" Юры Тавровского, корреспондента журнала "Новое время", то в "ниссан" Юрия Орлова, представителя Совэкспортфильма, и успел с помощью легализованных соотечественников кое-что повидать: например, оглушительный токийский рыбный рынок или знаменитый парк Йойоги, разбитый на месте американского аэродрома, где отрывная японская молодежь наладилась осваивать рок и на отдельных пятачках кучковались "Strey kats" или "Dongly boys"...

Юра Тавровский водил в японскую едальню и приглашал домой, в ту самую квартиру, что снимал до него прославленный на весь мир журналист-перебежчик и которую Юра нарочно оставил за собой.

- Что нам скрывать? - задал он риторический вопрос, но перед тем, как мы вступили в его подъезд, предупредил: - Входим в зону активного прослушивания...

Поскольку мы с Жорой Штилем и Леней Неведомским стратегических секретов не знали, а наш "Сателлит" являлся

зоной не менее активного прослушивания, причем и с той, и с другой стороны, особого впечатления предупреждение Юры на нас не произвело.

И вдруг... Вот оно, счастливое словцо, движитель не одного нашего сюжета: вдруг!.. Как бы долго ни шло к началу наших представлений на японских островах, оно застигло нас внезапно... Нет, не врасплох, но все-таки...

Господин Ешитери Окава взял себя в руки и, наперекор судьбе и несчастным обстоятельствам, принял решение гастроли начинать. В жестокой внутренней борьбе взяло верх начало мужественное и подлинно самурайское, которое до времени таилось в глубинах его загадочной японской души. Сделав резкий выдох и обнажив боевой меч, он подал своей фирме полководческий сигнал "В атаку!..".

Между прочим, когда находишься вблизи острова Сикоку, само слово "атака" звучит совершенно по-японски... Доказательство этого - имя молодой японской зрительницы, ставшей впоследствии моей доброй знакомой. Эту трогательную русистку звали Рисако Атака...

Конечно, непосредственному началу предшествовали трудные согласования с министерством иностранных дел Японии и с полицейским управлением города Токио, высылавшим впоследствии на охрану одного русского спектакля до тридцати полицейских, а также с советскими учреждениями: Госконцертом и Минкультом в лице первого заместителя министра товарища Ю.Я. Барабаша...

Конечно, Ешитери-Хироси, в отличие от нас, держал совет и с древними японскими богами, но, получив их согласие, повел себя безупречно.

Прежде всего фирма объявила: "С завтрашнего дня будем всех кормить завтраками".

Вместе с сообщением о премьере это известие вызвало волну общего энтузиазма. Завтрак за счет фирмы мобилизовал коллектив на короткое, но дружное утреннее собрание, где, под компот из персиков, кофе со сливками и сдобные булочки было единогласно решено, что жизнь движется вперед, искусство по-прежнему вечно, а японские иены надо отоваривать...

11

И вот работа началась.

16 сентября 1983 года на сцене театра "Кокурицу Гокидзё" давали прославленную "Историю лошади".

Что такое сорок, ну, пусть пятьдесят зрителей, сидящих сиротливой горсткой в огромном, чужом для нас помещении, в сравнении с ленинградским билетным голоданием и горделивой привычкой актеров к переполненному, гудящему, счастливому залу?

Тем заметнее было старание пришедших создать премьерную праздничную атмосферу: и посольские, и японцы - включая группу молодых русисток, знакомых нам по "Хабаровску", - и свободные от спектакля наши были щедры на аплодисменты...

Рукоплесканиями наградили уже первое явление - выход цыганского оркестра.

Попробуем уточнить.

Музыкальное решение спектакля было - "цыганский оркестр". Воплощали же его завмуз Семен Ефимович Розенцвейг в малиновой рубашке, со скрипочкой; выходящий в коричнево-фиолетовой гамме Александр Евсеевич Галкин, с огромным, больше него самого, контрабасом; ударник Коля Рыбаков - в ладной бежевой косовороточке, с бубном и прочими причиндалами; и еще двое: светловолосый гитарист Юра Смирнов - в желтеньком и Володя Горбенко в ярко-розовом и с баяном; все они были перепоясаны цветными шнурками и выступали в заправленных в сапоги свободных штанах с видом абсолютных любимцев публики.

Ребята работали отлично и держали улыбки, как положено, но в глубине музыкальной души каждого из них оставалась доля некоторого смущения, потому что они чувствовали степень своей театральной условности. Хотя, по большому счету, национальный состав нашего оркестра вполне соответствовал принятым в подавляющем большинстве цыганских эстрадных коллективов Советского Союза нормам: один украинец, два русских и два еврея.

Особенно тяжело "цыганщина" давалась Розенцвейгу и Галкину: оба они были в солидном возрасте, оба честно прошли всю войну, причем Галкин, служа в пехоте, был тяжело ранен и приволакивал левую ногу, оба всерьез задумывались о жизни...

У Саши Галкина было мечтательное лицо примерного шахматиста; казалось, что наш пожизненный кандидат в мастера, даже играя на контрабасе, продолжал решать проблемы

миттельшпиля, и оттого, что они не давались, в его глазах светилась вечная и известная всему миру скорбь.

Именно Александр Галкин был главным долгожителем музчасти: он пришел в БДТ в 1951 году, когда театр держал в штате большой оркестр, состоящий из восемнадцати или даже двадцати инструменталистов, а во главе его был завмуз Николай Яковлевич Любарский.

Но, совершая в БДТ свою революцию 1956 года, Г.А. Товстоногов, как помнится Галкину, закрыл оркестровую яму и упразднил оркестр, оставив на развод нескольких, а может быть, только двух музыкантов. В числе оставшихся Саша запомнил себя (контрабас) и Юру Темирканова (скрипка).

Теперь всемирно знаменитый дирижер Юрий Хатуевич Темирканов может при случае с нежностью рассказать о своих театральных началах рядом с Георгием Александровичем Товстоноговым и Александром Евсеевичем Галкиным, а особенно о спектакле "Поднятая целина", где они с Сашей в сцене партийного собрания исполняли туш, а Павел Луспекаев в роли Макара Нагульного, хватая их за грудки, страстно прерывал музыкальный дуэт скрипки и контрабаса.

И все-таки на первых порах в спектаклях Товстоногова музыки было маловато, и однажды заместитель директора Самуил Аронович Такса, один из авторитетных специалистов театрального дела в Ленинграде, вызвал Галкина к себе и предложил ему решать вопрос собственного трудоустройства.

- Понимаешь, Саша, - сказал Самуил Аронович, - ты у нас совсем ничего не делаешь, а зарплату все время получаешь. Это нехорошо. Так мы с тобой в журнал "Крокодил" попадем.

- Разве я виноват? - спросил Галкин и, не получив ответа, вышел за дверь.

Очевидно, он догадался, что ответ Самуила Ароновича был бы похож на ответ волка ягненку в знаменитой басне дедушки Крылова.

Но, узнав об этом разговоре, Копелян, Стржельчик и Юрский пошли к Товстоногову и попросили вступиться за Сашу перед Таксой. И не только потому, что Саша - кавалер ордена "Отечественной войны", медалей "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда" и многих других. И даже не потому, что он - кандидат в мастера по шахматам. И совсем не потому, что он держит не одну, а несколько сберегательных книжек и ссужает деньги в долг, что называется у его нуждающихся прихожан "попользоваться Сашиной библиотекой". А потому, что, наверное, в планах Георгия Александровича все-таки есть перспектива какого-то музыкального развития.

Оказалось, что музыкальная перспектива есть: скоро композитор Кара-Караев должен дописать музыку к спектаклю "Король Генрих IV", где у Саши Галкина может появиться много ударной работы. То есть работы на ударных инструментах. И Гога предложил Саше временно отложить контрабас, имея в виду вероятность стать исполнителем важной барабанной роли.

Поэтому, когда Кара-Караев завершил создание своей музыки и оказалось, что его партитура содержит сложнейшую партию барабана, Саша уже отчасти переквалифицировался и был к этому относительно готов.

Долгожданный "Генрих IV" должен был начинаться с появления барабанщика и исполнения им увертюры на двух или трех барабанах. Пока работа шла в репетиционном зале, Товстоногов не обращал на Сашу должного внимания, но как только перешли на большую сцену и он прежде всех пошел к своему месту, Гога остановил репетицию, вызвал тогдашнюю заведующую гримерным цехом Лену Полякову и сказал:

- Лена, нужно срочно что-нибудь придумать, чтобы снять с Саши Галкина его еврейство.

И Лена обклеила Сашу бородой и усами, маскируя его не то под могучего шотландца, не то под упрямого ирландца, но некоторых даже такой сложный грим все-таки не убедил.

В этой связи характерны новые сведения о гастролях 1983-го, полученные от самого Галкина. Оказалось, что, высадившись в Йокогаме, он тоже не избежал нападения японских операторов и репортеров и был вынужден отвечать на их вопросы о южнокорейском "Боинге".

Директор Суханов пытался его спасти, убедительно советуя на ухо:

- Уходи, Саша, уходи!..

Но следует иметь в виду, что Саша всегда чувствовал себя не только музыкантом и шахматистом, но и солдатом 45-й, ордена Ленина Гвардейской дивизии и не привык отступать с поля боя. Поэтому гвардеец Галкин, сожалея о случившемся, не преминул сказать японским корреспондентам, что корейский "Боинг" все-таки залетел на нашу территорию...

А тем же вечером, в Токио, он увидел по телевизору свое задумчивое лицо, с неизгладимой печатью еврейской мировой скорби, снабженное уличающим титром на английском языке: "рашен мардерс", то есть "русские убийцы"...

Когда "История лошади" закончилась, каждый из пятидесяти зрителей стал аплодировать за десятерых, и у всех участников создалось впечатление полного успеха. Ему способствовало щедрое множество цветов и тот небольшой, но удивительно

нежный букет, составленный по самым строгим законам японской икебаны, который юная Иосико вручила седеющему скрипачу в малиновой рубахе:

- Багодарью вас, сенсей!..

После премьерной "Истории лошади" шел "Ревизор", и мне предстоял дебют на японской сцене. Не скажу, что я трепетал от волнения, но и вполне спокоен тоже не был; дебют выходил двойной: впервые в Японии и впервые в "Ревизоре".

Понимаю, как смутятся историки драматического искусства, не заметившие в этой постановке артиста Р. Вижу, как они взволнуются и зашуршат пожелтевшими программками, выводя сочинителя на чистую воду: "Что такое? Когда это Р. играл в "Ревизоре"? Хлестаковщина!.. Не было этого никогда!..".

Так вот, - было.

И не менее семи раз.

В Токио - четырежды.

А еще - в Осаке, Нагойе и Маэбаси по разу...

Вот так.

Перед отъездом в Японию у нас вышел короткий разговор с Товстоноговым.

- Володя, - решительно сказал он, - вы понимаете, что всю труппу мы вывезти не можем. Каждый человек на счету, поэтому я прошу вас, кроме "Мещан", выйти в качестве гостя в "Ревизоре"... - И скорбно пояснил: - Вместо Виталия Иллича.

Об этой замене я знал как о деле решенном и, полный неожиданного смирения, сказал:

- Хорошо, Георгий Александрович...

Оказалось, что дело не потребовало больших усилий, и он несколько обмяк.

- Разумеется, это относится только к Японии, в Ленинграде делать этого вам не придется, - сказал он.

Я скромно сказал:

- Спасибо, Георгий Александрович.

После новой цезуры с какой-то неуверенной интонацией он предположил:

- Костюм Иллича должен вам подойти... Мне кажется, вы одного роста...

Очевидно, историю с примеркой костюма Гриши Гая ему рассказали во всех подробностях...

Еще более упрощая разговор, я сказал:

- Да, Георгий Александрович, этот костюм, думаю, подойдет. - И добавил: С утра начинаю работать над ролью.

Гога недоверчиво вскинул брови:

- Там нет никакого текста...

- Тем более, - сказал я, - работа сложнее.

Тут наконец он хмыкнул и засопел.

Выступать в пользу Иллича так же, как затевать разговор о Гае, было не только бестактно, но и бесполезно.

- Я рад, что "Мещане" все-таки едут, - сказал я.

Он живо подхватил:

- Как вы понимаете, я тоже!..

Читателю, не пережившему наших побед, скажу напрямик: я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов, а "Мещан" - лучшим спектаклем этого художника. Мое заявление, конечно, декларативное и отчасти вынужденное, должно было прозвучать давно и наконец прозвучало во избежание возможных кривотолков, которых невозможно избежать.

Кривотолки были и остаются на театре проверенной принадлежностью, являясь оружием нападения и средством защиты, особенно для тех патриотов, которые не стесняются называть себя именно так, в отличие от других, которые почему-то стесняются.

Подобное расслоение происходит и на театре политических представлений, и в самом обществе, очумевшем от неудач, и с каждым годом становится очевиднее, что "патриотами" в подавляющем большинстве величают себя лица неодаренные или одаренность утратившие, в себе и собственных силах не уверенные, а оттого и развивающие в себе инстинкт стадности и постоянно самоутверждающиеся с помощью визга или обезьяньего поколачивания кулаками в собственную грудь.

И поскольку время от времени возникает общественная опасность кулачного нападения "патриотов" на всех остальных, автор рекомендует последним, то есть остальным, хотя бы из чувства самосохранения запастись парой простых и желательно искренних деклараций на крайний случай. Например: "Я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов..." и т. д.

Конечно, если крайний случай все-таки наступит, декларации никого не спасут, но при этом сохранится слабая надежда избежать хотя бы кривотолков.

Сделав это признательное отступление, артист Р., как ему кажется, получает право честно сообщить читателю, что его любимых "Мещан" в Японии оценили меньше, чем в других странах Европы, Азии и Латинской Америки, и на это была своя причина.

Оказалось, что ни на одном из японских островов аборигены не имели понятия о "конфликте поколений", который так

занимает нашу и европейскую публику. Представители японской общественности деликатно объяснили нам, что на Хоккайдо и Хонсю нет и никогда не было "конфликта отцов и детей", который из века в век питает воображение русских художников. А на Сикоку и Кюсю воспитание полностью исключало скандальные конфронтации в лоне семьи. Таким образом, наших с Лебедевым, то бишь с папашей Бессеменовым, перебранок японцы не понимали настолько, что один из планируемых спектаклей был даже заменен на "Дядю Ваню", в котором артист Р. действительно никогда замешан не был.

Нет, количества публики замена не прибавила, и сотрудники Ешитери-Хироси шептали, что в Нагойе до сих пор ни один билет не куплен, но факт остается фактом: Антон Чехов со своим "Дядей Ваней" оказался ближе японским зрителям, чем Максим Горький с его "Мещанами", как это ни печально для всего коллектива в целом и для артиста Р. в частности. Поэтому он, видимо, и возомнил, что его участие в "Ревизоре" заслуживает какого-то внимания. Пожалуйста, простите его.

Для того, чтобы ступить за кулисы "Кокурицу Гокидзё", нужно было прежде всего снять уличную обувь и надеть голубые тапочки. В них все опять себе понравились и принялись пошучивать в том смысле, что голубые отлички на мужских ногах наводят женщин на грустные размышления о всеобщем падении нравов, и вообще, мол, разница между голубыми и белыми тапочками не слишком велика.

Но были и оптимисты.

- Ну, как в музее, - восхищался театром Юзеф Мироненко, примеряя перед зеркалом свою жандармскую каску. Кажется, он играл Свистунова, а может быть, и самого Держиморду. Ах, да, вспомнил, Свистунова и Держиморду Товстоногов сложил вместе и разделил на троих, стало быть, Юзеф был и тем, и другим, и еще кем-то третьим...

Помещения для актеров были разгорожены ширмами, и, переодеваясь в костюм Виталия Иллича, я чувствовал себя не просто инопланетянином, а как бы инопланетянином не в своей тарелке.

И правда, все здесь было чужим для Р. - островная империя, здание нового театра, таинственные сигналы, оставшиеся от самого "Кабуки", общие помещения с легкими ширмами, таблички с иероглифами на дверях, эти голубые тапочки, а главное, чужой спектакль, костюм с чужого плеча и бессловесная роль, пока еще невидимка...

Но костюм и впрямь был как раз, и Р. стал прогуливать его по японскому коридору, приноравливаясь к длинным фалдам

партикулярного сюртука и воображая, что же такое - его молчаливый аноним в гостях у городничего.

Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что оставшийся в Ленинграде Виталий Иллич, подмигивая, указывает на моего соседа.

Рядом приседал, шамкал и жестикулировал Иван Матвеевич Па'льму, входя в роль лекаря Гибнера. Я вспомнил, почему Иллич кивал на него.

В числе сыгранных ролей был у Матвеича некий калмык в спектакле о нашей современности. Однажды Пальму, приглаживая калмыцкие усы, скромно сообщил Илличу:

- Знаешь, Виталий, меня послали на "заслуженного"!..

- Слышал, - невозмутимо сказал Иллич, - вот ты и получишь "заслуженного артиста Калмыцкой автономии".

Вспомнив этот внутриведомственный анекдот и получив воображаемый привет от Виталия Иллича, Р. вдруг стал принимать чувствительные сигналы и от того молчальника, которого обязался вывести на японскую сцену вместо него.

Так же, как Виталий, он начинал нравиться мне, потому что вел себя честно, наученный горьким опытом, не лез на рожон и, не в пример мне, никогда и никому не объявлял своего дурацкого мнения.

Р. понял, что бессловесный гость обрел внутреннюю свободу с тех самых пор, как услышал о себе проницательное высказывание нашего классика:

Молчит, а в голове все обсуживает.

Тут же, со всей внезапностью открытия, прояснилось, что он, разумеется, пьет, этого не скрывает и с сегодняшнего утра с великим нетерпением ждет момента, когда сможет от всей души отдаться стихии губернского праздника. Именно сегодня он, наконец, как ровня дорвется пожимать кисти городскому начальству и целовать ручки великосветских дам...

Прикинув, что делать на сцене во время визита, - гость выходил исключительно ради поздравления с удачей, - Р. пошел смотреть прогон спектакля и, конечно, напоролся на Гогу...

Прогон уже начался, и, сидя недалеко от Мастера, я смотрел его с естественным любопытством вводящегося новичка, но в то же время несколько отстраненно...

Ни я, ни Гога не видели его чуть ли не со дня премьеры, я - оттого, что не был занят, а он - потому что после выпуска вообще не мог смотреть свои спектакли.

Очевидно, в этом была своя закономерность: репетировал он по многу часов подряд, забывая сходить в туалет и все время возвращаясь к началу. Процесс создания спектакля всякий раз

требовал от него органической постепенности. То есть каждая последующая сцена должна была вырасти непосредственно из предыдущей, и, начиная от печки, Гога постоянно проверял на прочность появляющуюся ткань, штопая вчерашние прорехи и закрепляя важные узлы.

Сочинение сценического романа обычно так увлекало его, что репетиционный период можно было сравнить с настоящим мужским загулом, только вместо женщин у него под рукой послушно поворачивались актеры и цеха, а вместо выпивки служила нескончаемая сигарета.

Курил он на репетициях буквально одну за другой, выпуская дымы, сопя, покрякивая и подавая возбужденные реплики, в полном душевном и телесном единении со всем, что происходило на сцене. Естественно, к концу работы он полностью выкладывался и, независимо от результата, жутко утомлялся. Когда же спектакль выходил и наконец встречался со зрителем, Мастер от него инстинктивно отодвигался, как бы из чувства самосохранения. А за премьерой и рядовыми представлениями следили уже "дежурные режиссеры": Роза Сирота, Юра Аксенов или кто-нибудь еще.

А сам Гога показывался только к финалу акта, или в конце спектакля, или на какую-нибудь ударную сцену, заканчивающуюся аплодисментами, или чтобы подсмотреть реакцию приглашенных в его, т.е. левую, ложу уважаемых гостей...

"Ревизор" был уже другой: Тенякова и Юрский жили в Москве, а остальные не то чтобы потускнели, но были, пожалуй, излишне уверены в себе и попривыкли к предлагаемым обстоятельствам. Впрочем, это был черновой прогон, на спектакле все могло измениться. Тем не менее, действие шло, и чем дальше, тем понятнее становилось, что хорошо бы мне оценить и внятно одобрить какую-нибудь сценку или режиссерскую находку Георгия Александровича и довести свое одобрение до его ушей.

Я смотрел прогон и ждал момента, который мог бы отметить если не с искренним восхищением, то с честной похвалой. Но глядя на сцену и отметив в себе бестрепетность "дежурного режиссера", я подзадержался с одобрением, и тогда Гога, сидящий через кресло от меня, доверительно подсказал:

- Я хорошо это придумал, этот монтаж...

Мне оставалось просто подтвердить его трогательный комплимент самому себе, но, по своему дурацкому обыкновению, я предпочел тупо признаться:

- Я не помню, георгий Александрович, я ведь давно не видел спектакля...

Гога терпеливо пояснил:

- Здесь, где говорят о приезде Хлестакова, я вставил часть второго акта...

- А-а-а, - протянул я, еще не вполне понимая, и спросил: - Как продолжение рассказа?

- Да, - довольно и выжидающе подтвердил он.

Но и тут вместо прямой похвалы я глубокомысленно выдавил из себя голый глагол:

- Понимаю.

Мы хорошо знали, что одного понимания все-таки недостаточно. Чтобы жить с Мастером душа в душу, нужно было его не просто понимать, а принимать, одобрять и восхищенно поддерживать во всех проявлениях композиционного гения. Это не удавалось только законченным идиотам.

Наконец, заставив себя поверить, что вставка из второго, действительно, улучшает первый акт "Ревизора", я родил слабоватое, но искреннее и даже сопровождаемое кивком головы:

- Хорошо...

И было хорошо, пока не наступил гоголевский финал первого акта: городничий наконец собрался и поехал в гостиницу к Хлестакову.

Тут-то мне, дураку и филоло'гу ташкентского разлива, ударила в лоб грубая догадка о том, что композиционный гений Гоголя все-таки не слабее Гогиного, и автор нарочно весь первый акт нагнетает тревогу и загадывает загадку: кто же это такой поселился там, в гостинице? И только когда городничий уезжает это выяснять, мы попадаем в номер Хлестакова и Осипа. Пока те сюда едут, в гостинице происходит вот что, и, становясь сообщниками Гоголя, мы только теперь понимаем, что Хлестаков - вовсе не ревизор. Так, по-моему, достигается непрерывность и растет напряжение драматического действия...

Тут я стал молча придираться к исполнителям, отмечая разные прогонные недостатки, и, тем самым, повел себя вовсе некорректно. Оправдывало меня - и то в малейшей степени - лишь то, что не только Гоге, но и никому другому, кроме своего дневника (двойника), я своих замечаний не открыл.

К антракту господин Бессловесный, хотя и носил костюм сдержанного Иллича, повел себя беспардонно и так расшалился, что еще за кулисами начал приставать к мимоследующим дамам с сельскими комплиментами. Делать этого никак не полагалось, но, очевидно, его, так же, как и артиста Р., привело в полное восхищение то, что хозяева театра "Кокурицу Гокидзё" предложили ленинградским артистам зеленый чай из маленьких пиал. А это было уже совершенно по-узбекски!..

Товстоногов на второй акт не пошел, а уселся за кулисами на низком диванчике и опять покуривал, озираясь по сторонам.

Прогуливаясь поодаль, Р. заметил, что Мастер одну за другой делает попытки подняться с дивана, дергаясь с места, но его подводят ноги, и встать никак не удается.

Трудно быть свидетелем слабости великого человека, и Р. сделал вид, что ничего не замечает. Тогда Гога обратился к нему:

- Володя, - спросил он, - вы не знаете, где тут этот зеленый чай?

- Вот здесь, рядом, Георгий Александрович, - показал я за угол и налево.

Он снова дернулся с места и снова не смог встать. Очевидно, ноги уже тогда начинали его подводить, но масштабов грозящей опасности никто еще не представлял.

И тут Гога обратился ко мне:

- Володя, - робко сказал он, - вам не трудно принести мне чаю?

- Конечно, нет, Георгий Александрович! - воскликнул недогадливый Р. Минуту!

- Не в службу, а в дружбу, - послал он вдогонку, и я, оглядываясь на ходу, радостно ответил:

- Ну, разумеется, Георгий Александрович, именно так!..

Хотя слово "дружба" было произнесено Мастером в составе пословицы и не могло иметь буквального смысла, оно согрело преданное сердце артиста Р.

Вернувшись с чаем, он, по узбекскому обычаю, приложил левую руку к груди и, с поклоном передавая маленькую фарфоровую пиалу, сказал:

- Ана, чой!..

- Большое спасибо, - сказал Гога, принимая ее, и спросил: - Это вы по-узбекски?..

- Да... И зеленый чай - тоже... Все, как в узбекской чайхане... Не хватает только тюбетеек... "Ана чой!" значит "Вот чай!..".

Он стал осторожно прихлебывать, неумело держа пиалу не одной рукой снизу, а обеими - за края.

- Кстати, Георгий Александрович, - сказал я, - не удивляйтесь, пожалуйста, если узбекское начальство попросит вас одолжить Рецептера на постановку. В театре Хамзы нет главного и неважные дела. Они знают, что я с одной стороны от Гинзбурга, а с другой - от вас, а вы, как известно, "Заслуженный деятель искусств Узбекистана", и вот недавно мне сделали такое предложение...

- Да?.. А что они хотят? - полюбопытствовал Гога.

- Речь идет о классике. У них шел "Отелло" с Абраром

Хидоятовым... Может быть, Шекспир... Я думал о Гамлете в восточном дворце, восточных костюмах, с восточными страстями, коварством, резней... Они говорят "хоп", то есть "хорошо", но предлагают подумать еще о Чехове...

- Ну, Чехов у них не получится, - решительно сказал Гога.

- Я тоже так думаю, и у меня про запас Достоевский... Может быть, "Идиот" с оглядкой на Куросаву... Русские имена по-узбекски звучат странновато... Например, "Гаврила Ардальонович". И потом все эти наклейки, парики, армяки... Они должны играть себя и про себя... А настоящие страсти, любовь, ревность, все, что связано с деньгами, - это свое...

- Вы правы, - согласился Гога.

- Еще чаю? - спросил я.

- Нет, благодарю вас, довольно.

- Вы знаете, есть такое узбекское слово - "дивона"... Не "идиот", а скорее "блаженный", или "обезумевший от любви", или "влюбленный до святости"... Все эти смыслы... Не "дервиш", а "дивона". Это, по-моему, еще точней о Мышкине, чем "идиот"... Ну, разумеется, нужно увидеть актеров, посмотреть, есть ли там Гамлет или Мышкин, но пока важно решить в принципе... Вы отпустили бы меня в Ташкент на постановку?..

- А вам хочется? - спросил он, глядя на меня снизу вверх.

- Честно говоря, да.

- Так ставьте, - решил он.

Я взял из его рук пустую пиалу, сказал: "Большое спасибо", - и пошел прочь, как будто боялся, что он отнимет подаренную игрушку...

12

Возможно, я ошибаюсь, как, впрочем, и во всех остальных моих предположениях и выводах, но мне показалось, что одной из ведущих утренних тем стали всеобщие и взаимовыгодные консультации насчет японской аудио- и видеотехники, еще сравнительно редкой и дорогой на необъятных просторах нашей родины.

Инициативная группа лидеров - Рома Белобородов (замдир), Юра Изотов (завцех) и Гена Богачев (арт.) с двумя или тремя ассистентами, сведущими как в вопросах использования аппаратуры, так и выгодной ее "ликвидации", - совершив ряд пеших разведок, донесла, что в магазинчике господина Отадзима на Акихабаре, известном каждому прибывающему из СССР, есть достаточный выбор, а главное, ожидается коллективная скидка.

Это ключевое слово приобрело популярность не только за столиками, но и в номерах и стало производить на всех наркотическое действие, как музыка, звучащая из стереофонических колонок.

Так мы оказались "скованными одной цепью", ибо шаг вправо или влево от господина Отадзима и его налаженного бизнеса грозил потерей вожделенной скидки. Поэтому многие смельчаки, похорохорившись для порядка, возвращались в лоно "семьи", к "Ежику": японец Отадзима носил почему-то польское имя - "Ежи". Как это с ним случилось, сказать не берусь, но в наших разговорах то и дело звучало "Ежик", "у Ежика", "с Ежиком", "Ежик обещал", "Ежик сбросит" и т. д.

- А балетные говорят, - засомневался Женя Соляков, - что технику надо брать не у него, а у его конкурента, в магазине "Аэрофлот"...

- Это у Ежика "Аэрофлот", - сказал Жора Штиль.

- Нет, у конкурента, - сказал Леня Неведомский.

- Нет, у Ежика, - сказал Володя Козлов.

- Почему надо брать у конкурента? - строго спросил Юра Изотов.

- Потому что у Ежика может оказаться некомплект, - сказал Женя и пояснил: - так балетные говорят...

- На Гинзе надо брать, а не на Акихабаре, - сказал Вадим Медведев, но Слава Стржельчик оспорил:

- На Гинзе цены хулиганские...

- Зато там товар первого класса, - сказал Миша Волков.

- Ну, это без нас, - решительно сказал Володя Козлов, - мы пойдем другим путем...

Очевидно, он имел в виду поиски вещей дешевых, на которые у нас были свои мастера, интуитивно определявшие отдаленные сейлы и бросовые распродажи. Этим умением особенно отличались музыканты, выходившие в "Истории лошади" в качестве цыганского оркестра, а также некоторые участники "хора", то бишь "табуна". Специалистов по приобретению уцененных товаров остроумный Женя Чудаков уже давно назвал "санитарами Европы", имея в виду то, что они благородно подчищали магазинные развалы и ярмарочные свалки. Впрочем, на гигантской осенней распродаже, которая раскинулась по всей территории стадиона "Каракуэн" вблизи "Сателлит-отеля", бродили буквально все, включая самых "благородных". Поэтому каждый, кто хотя бы однажды был замечен в позе сосредоточенного разгребателя неупакованных предметов капиталистического ширпотреба, имел право носить титул "санитара" или, по другой версии, "ассенизатора Европы".

Вскоре выяснилось, что конкурент Ежика, у которого отоваривался "Большой Балет", дал неправильное интервью по поводу сбитого нами "Боинга", и оказалось, что от Отадзима-сан нам не отвертеться и "с политической точки зрения"...

При всей разнице вкусов главный технический "водораздел" проходил между теми, кто хотел приобрести аппаратуру в личное пользование, и теми, кто за ее счет решил улучшить свое материальное положение. В соответствии с целью менялись критерии и приоритеты...

Так, Гена Богачев "делал" себе квартиру и твердо знал, что купит и "сдаст" большую стационарную систему "Pioneer" за 144 тысячи иен, а Семен Розенцвейг был озадачен будущими домашними прослушиваниями любимой классики и остановился на двухкассетной мини-системе "Хитачи" по цене 88 тысяч.

Миша Волков, как обычно, сосредоточенно покупал, а на следующий день сдавал то одну, то другую японскую игрушку. Это отбирало у него много времени и душевных сил, потому что, приняв решение, он, как настоящий мужчина, немедленно его исполнял, дружелюбно прощался с продавцами и хозяевами, за ночь успевал передумать, а утром ошарашивал вчерашних друзей требованием вернуть деньги. Юра Аксенов сказал, что точно так же он вел себя во время летних гастролей по нашим войсковым частям, расквартированным в Восточной Германии.

Для таких гастролей бригады артистов формировало командование Ленинградского военного округа. Согласно обычаю, на местах приезжих кормили с офицерского стола, а суточные оставались на приобретение вещевого дефицита. От БДТ особенно часто в такие гастроли устремлялся Иван

Матвеевич Пальму с Севой Кузнецовым и другими партнерами, но как раз накануне Японии в группу "войсковиков" вошли Юра Демич, Лена Попова (в то время - жена Юры Аксенова) и Миша Волков. Так вот, еще в Германии Миша с утра отправлялся на военной машине с сопровождающим из гарнизонного городка километров за тридцать в близлежащий немецкий населенный пункт, приобретал там товары повышенного спроса, а из следующей части, куда успевала переместиться гастрольная бригада, уже на другой машине и с другим сопровождающим, километров за сорок возвращался купленные вещи сдавать.

Р. по заграничным частям никогда не ездил, но был о таких гастролях частично информирован, так как о поведении Миши Волкова в Западной группе войск ему рассказывал Юра Аксенов, а о поведении Юры Аксенова - Миша Волков...

В отличие от Волкова, Р. наоборот, "оледенев над пропастью поступка" (малоизвестный перевод шекспировского монолога "To be or not to be" Алексея Матвеевича Шадрина), почти всегда тянул с приобретением товаров до последнего момента, покупал неуверенно и часто неудачно, а однажды, во время аргентинских гастролей, так и остался при половине суточных, которые в Союзе пришлось менять на "березовые" чеки. Это было крайне глупо и непрактично, но утешением служила мысль о том, что Ирина сама может пойти в "Березку" и выбрать то, на что этих чеков хватит.

В Японии на мою тяжелую рефлексию обратил внимание Миша Волков и поделился наблюдением с Валей Ковель. Поэтому, расстреляв свои патроны, она предложила мне купить у нее "чудную японскую кофточку", которая на первый же взгляд была для моей Иры безусловно велика.

В ответ на предложение я попробовал дипломатично уклониться:

- Спасибо, Валечка!.. Вот приедем в Питер, примерим...

Она сказала:

- Ну-у, в Питер!.. Ты здесь купи!.. Мне сейчас иены нужны.

Я осторожно возразил:

- Но, Валюша, у вас с Ирой даже издалека... бюсты разные.

Валя уверенно сказала:

- Вырастет!.. Вырастет у нее бюст! Можешь быть уверен!.. Покупай на вырост!..

- Я подумаю, - сказал я.

- И думать нечего! - отрезала Валентина и пошла предлагать кофточку кому-то еще.

Юзеф Мироненко с Женей Соляковым обдумывали крутой гешефт с видеомагнитофоном. Юзеф убеждал:

- Ты пойми, у меня в Ташкенте есть друг, он сдаст его за 12 тысяч как минимум! Ты что?!. В Ташкенте "видак" с руками оторвут!

- Он что, торгаш, комиссионщик? - спросил Женя.

- Кто? - не понял Юзеф.

- Ну, твой друг...

- Нет, - сказал Юзеф, - он тренер.

- В каком виде? - спросил Женя.

- Да неважно, - сказал Юзеф, - ты пойми главное: "видак" в Ташкенте - с руками!.. Да там их вообще нет!..

Дело в том, что Юзеф так же, как и я, был ташкентцем и не терял связи с родным городом, а Женя сравнительно недавно создал новую семью совместно с девушкой из солнечного Узбекистана и таким образом тоже вошел в ташкентское землячество. В итоге японских переговоров Женя с Юзефом приняли решение "сложиться" и "взять на грудь" солидный японский видеомагнитофон, предназначив его к продаже в столице Средней Азии. (Образное выражение "взять на грудь", автором которого, по-моему, являлся артист Борис Лёскин, расширило свое значение и, кроме "упражнения со штангой", приобрело добавочные смыслы, например, "крепко выпить" или "купить дорогую вещь"...)

Итак, Юзеф Мироненко и Женя Соляков осуществили задуманное и, возвращаясь из Японии в Ленинград, пролетели почти над самым Ташкентом, посылая мысленный привет другу-тренеру, которому предстояло проведение коммерческой операции с "видаком". А сама "аппаратура" в общем контейнере приехала в Ленинград малой скоростью, гораздо позднее.

Отправлять видеомагнитофон в Ташкент посылкой было не просто рискованно, но и безнадежно глупо, и Женя с Юзефом стали ждать надежной оказии.

Наконец, в гости к дочке приехал Женин тесть, представлявший сразу два братских народа, т.к. был наполовину узбек, наполовину казах, и он клятвенно заверил полувладельцев магнитофона, что доставит "видак" до места целым и нераспечатанным. Однако Юзеф и Женя решили его провожать, обдумывая, как получить от "Аэрофлота" охранные гарантии.

Была глубокая осень, и Мироненко надел плащ с подстежкой, а Соляков короткое кожаное полупальто, конечно, тоже заграничное, чтобы выглядеть как можно респектабельней.

Доведя тестя до стойки регистрации и показывая на него уверенной рукой, Женя солидным голосом сказал:

- Это - референт товарища Рашидова, он везет дорогостоящую японскую аппаратуру. Пожалуйста, позаботьтесь о ее

сохранности!

Тогда все знали, что Шараф Рашидов - не только Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Узбекистана, но и кандидат в члены Политбюро, возглавляемого самим Леонидом Ильичом Брежневым. Поэтому люди на регистрации, не требуя дополнительных доказательств и подтверждая убедительность Жениной игры, сказали:

- Не беспокойтесь, товарищ. Мы проследим, - и, поставив на билете "референта" особую отметку, разрешили проводить его прямо в самолет.

Юзеф был нахмурен и нес магнитофон со всей осторожностью, прижимая его к взволнованной груди. На этот раз ему досталась роль сурового молчальника из личной охраны.

Когда референт товарища Рашидова проходил в отстойник и двигался к самолету, Женя, слегка отстав, обратил внимание на его не вполне цековский вид, а особенно на дырчатую авоську, которую дорогой тесть не выпускал из цепкой руки. Из авоськи торчали невзрачная рыбка, ничем не прикрытые макароны и прочие демаскирующие тестя недефицитные продукты. Поэтому, доведя его до трапа, Женя на всякий случай подкорректировал легенду, произнеся для бортпроводников другой вариант текста:

- Это - шофер референта товарища Рашидова, он везет... и т.д.

Но и тут оценили близость к руководству, и тут было обещано должное внимание, и "видак" благополучно улетел в Ташкент.

Долго ли, коротко, но "шофер референта" отыскал, наконец, "товарища-тренера", и они в порядке общей очереди "поставили" сказочную японскую аппаратуру в обыкновенный комиссионный магазин.

Никто не знает почему, но в ташкентском "комисе" к видеомагнитофону отнеслись скептически и резко снизили стартовую цену по отношению к идеализированной сумме в 12 тысяч рублей, которая померещилась Юзефу в Японии.

Но и это не помогло. "Видак" стоял на полке месяц за месяцем, и месяц за месяцем по согласованию с ленинградскими полувладельцами ташкентские полупродавцы снижали стоимость дивной игрушки.

И все же ни один представитель местной интеллигенции не позарился на японское чудо, не говоря уже об узбекских рабочих и колхозниках-хлопкоробах. В чем было дело?

Здесь со всей неизбежностью возникает вопрос о действительной причине его упорной "неликвидности". Но кто в силах ответить на него? Кто разгадает загадку товарного спроса на рубеже времен и пространств? Кто осмыслит вечную тайну

народного потребления?

"Хлеба и зрелищ" жаждал могучий имперский народ, что же за осечка вышла в азийской земле? Зачем стоял и не хотел "уходить" в хорошие руки этот диковинный зверь?

Доныне струятся в душе больные вопросы, на которые не смогли ответить не только шекспировский принц и чеховские интеллигенты, но и пророческий гений Пушкина. "Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего младая любит Дездемона, Как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона..."

Мы должны признать, что, видимо, нет закона и дорогому образцу японской видеотехники, который не берет в расчет наши пожелания и сам ищет себе дом и хозяина...

Любезный читатель, одерни наконец говорливого автора, разрушь его актерский пафос и напомни ему, бестолковому, что речь идет о сезоне 1983-84 годов, когда советская империя равна самой себе, граница - "на замке", а кассеты с чужими фильмами - "идеологическая контрабанда".

Нечего, нечего было еще смотреть по чудесному "видаку"!

И вот, проведя большое селекторное совещание по междугороднему телефону, "корпорация" решила возвратить технику в Ленинград и целиком оплатила как представленные счета, так и новый авиабилет для "шофера референта товарища Рашидова", которого убедительно попросили в обратную дорогу авосек с собой не брать.

В конце концов, в одном из многочисленных ленинградских "комисов" вещь ушла менее чем за половину идеальной цены, а Женя и Юзеф сказали себе и друг другу, что и то хорошо, и это тоже приличные деньги...

Прежде чем привести другие существенные факты и цифровые подробности, автор обязывает себя сделать важное отступление.

Несколько лет назад он рискнул напечатать в журнале "Знамя" короткую повесть "Прощай, БДТ!", носящую подзаголовок "Из жизни театрального отщепенца" и имевшую некоторый спрос у читателя. При написании ряда эпизодов автор полагался на свою необъективную и склонную к аберрациям память (как помнил, так и излагал), а также на некоторых авторитетных для него свидетелей.

Однако года через два после журнальной премьеры жена автора, Ирина Владимировна, по неосторожности носящая ту же фамилию, что и он, обнаружила в глубине антресолей несколько общих тетрадей в коленкоровых обложках (96 листов, ГОСТ

13309, арт. 6344, цена 44 коп.) - две черные, красную, синюю, зеленую и две коричневые, причем одна из черных и одна из коричневых увеличенного формата (96 листов, арт. 6701-р, цена 95 коп.). Оказалось, что на клетчатых страницах многие события, цифры, факты, речи и реплики из прошлой жизни артиста Р. были им закреплены по горячим следам и почти подневно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что здесь содержится более высокая по степени достоверности информация, впрочем, при той же субъективности взглядов и оценок.

Появление на свет клетчатых тетрадей обозначило некий Рубикон в позднем становлении автора, открыв ему новые возможности и обязывая вернуться к некоторым уже известным сценам. Болезненная жажда истины и попутного самоусовершенствования потребовала придать им новую окраску и дополнить упущенными прежде деталями. Особенно это относится к сценам с Товстоноговым и воспоминаниям самого Мастера, из почтения зафиксированным автором дневника почти дословно.

Читатель может подумать, что ему предлагаются мотивы, как бы спорящие с повестью "Прощай, БДТ!". На самом же деле никакого спора нет и быть не может. Сопоставление дат, уточнение обстоятельств и стилистических нюансов, введение новых реплик и ремарок, то есть сравнение вариантов, должно, по нашему мнению, всего лишь посильно развивать внутренний сюжет и поставлять натуральную пищу читательскому воображению.

А жанр, в котором до сей поры автор не в силах дать отчет ни себе, ни читателю, продолжает самоосуществляться в неизвестном направлении.

Так, например, в рассказ "Вельветовая пара" не вошли некоторые реплики из малой коричневой тетради, и мы восполним этот пробел.

Я. Георгий Александрович, представьте себе, как можно укрупнить блоковские ремарки, например, "Поварята безобразничают"... Какой тут простор для импровизации!.. Или: "Вдали раздается перекличка ночных сторожей..." Почти как у Пушкина: "И сторожа кричат протяжно: "Ясно!..".

Он (переходя на шепот). Володя, а вы читали книгу романа Якобсона?

Я. Нет, к сожалению.

Он. А я прочел!.. Книга очень сильная...

Я. так дайте хотя бы на ночь.

Он. Я бы вам дал, но у меня ее нет! Я прочел ее ТАМ... (Показывает большим пальцем за свое правое плечо, что заменяет

выражение "за бугром".) Мне нельзя ничего привозить!.. Могут проверить... речь идет (еще больше понижает голос) о люмпене, которого Блок вывел в поэме "Двенадцать". Люмпен - вот кто главное действующее лицо!.. И этот "люмпен-пролетариат" порождает "люмпен-генералиссимуса", "люмпен-буржуазию", "люмпен-бюрократию" и так далее... Понимаете?.. Очень сильно!..

Имея в виду отмеченную Александром Блоком, а вслед за ним Романом Якобсоном, а вслед за ними и Георгием Товстоноговым историческую "люмпенизацию", мы и должны рассматривать частную жизнь наших героев, не исключая самых выдающихся в этой истории лиц и, безусловно, самого автора, который, как становится очевидно, несмотря на некоторое вольнодумство и врожденный сепаратизм, плоть от плоти общего театрального тела.

Что же удивляться тому, что в красной тетради сохранились не только подробные описания впечатляющих музейных экспонатов, но и стоимость разных вещей, которые он собирался приобрести на полученные 294430 японских иен. Правда, 430 иен предлагалось тут же отделить и сдать в общий котел на подарки таможенникам и юбиляру, далее возникла подписка "на администраторов", оставшихся в Ленинграде, и другие аналогичные предложения, но все это были совершенные пустяки в сравнении с невиданной и, я бы даже сказал, титанической суммой...

По этому поводу Алла Федеряева сказала Ирине Ефремовой:

- Ира, пойми, ты держишь в руках сто тысяч, ты никогда не держала в руках таких денег, ты можешь сейчас пойти и купить все, что только захочешь!..

И полученные иены действительно оказали влияние на всю оставшуюся жизнь многих действующих лиц нашей истории. Так, актриса Ира Ефремова, вдова Ивана Ефремова, одного из худруков БДТ дотовстоноговского периода, продав мини-систему и ковер, сумела наконец купить себе скромную мебель: диван, светильники, люстры, кресла; вторично женить сына, устроив ему достойную свадьбу, и сохранить немало носких вещей и чудных безделушек, доныне украшающих ее суровый пенсионный быт. Сын ее, Никита, знает Японию по материнским рассказам так, как будто сам в ней побывал, а к Ирине по сей день, а вернее, по сию ночь, приходят упоительные японские сны...

Женя Чудаков подбил завсветом Евсея Кутикова за компанию с Зиной Шарко купить по вязальной машинке и, продав свою, приобрел дачку под Ленинградом, на которой благоденствует в окружении близких каждым летом. Зина подарила волшебный инструмент своему сыну, Ване Шарко, который с его помощью

удачно стартовал на пути к театрально-производственному предпринимательству. И хотя судьбы вязального устройства, ставшего собственностью Кутиковых, установить пока не удалось, я решительно убежден, что и оно пошло во благо семейству.

А Семен Ефимович Розенцвейг, помимо полной музыки системы "Хитачи", купил еще стиральную машину, которая в древнем Киото стоила дешевле, чем в других городах... И, как мне кажется, эта полезная покупка была сделана не без участия милой русистки Иосико, потому что ее появление в соседстве с Розенцвейгом отмечалось не только в Токио, но также в Киото...

Ну да, конечно, конечно, Иосико занимала языковая практика, а Семен Розенцвейг был вынужден думать о доме и стиральной машине, но что копилось в них при каждой встрече, нельзя понять трезвым умом.

Вот она стоит перед ним, глядя из-под челки и снизу вверх, хотя он и сам небольшого роста, и ему трудно глядеть ей в глаза: он смотрит на губы, и слушает ломкие русские слова, и что-то бормочет в ответ.

Она в белой блузочке, застегнутой под самой шейкой, никакого декольте, короткие рукава открывают изящные ручки, а на левой - квадратные часики с черным простым ремешком.

И вот правая ладошка ложится сверху на левую кисть и сжимает ее; теперь нежные ручки сложены перед собой, словно защищая что-то внизу живота. Потому что в ней растет странное волнение, и льется из глаз, и обжигает его совершенно без всяких мотивов и причин, вопреки скромнейшим мизансценам...

Хорошо бы вернуться на теплоход "Хабаровск" и побегать по палубе вместе...

Ах, да!.. "Хитачи", "Хитачи"...

"Хитачи" и стиральная машина...

Но вот кому действительно не повезло, так это Аллочке Федеряевой, которая, продав японскую роскошь, положила денежки в банк, а банк к чертям собачьим рухнул, и Аллочке остались одни островные воспоминания...

К тому же после смерти Гоги Федеряева погорячилась и, обиженная тем, что ее не взяли в Индию, подала заявление об уходе накануне своего пенсионного полнолетия.

- Знаешь, Володя, - сказала мне Алла, прописанная прежде бойкой "лошадкой" в объездившем мир "табуне", - первое время я была даже рада, как будто груз с души сняла, а потом... Ничего у меня не вышло... Мама лежит вот уже четвертый год... Дом ремонтируют, и даже холодной воды у нас нет... Хорошо, если накапает, а то - нести со двора... Все мои маршруты - аптека, почта и магазин... Вчера давление подскочило так, что, думаю,

конец мне пришел, а как же без меня мама?.. И вообще теперь ясно: как кончаешь работать - кончается жизнь...

- Точно, - сказал Р. - или наоборот: кончается жизнь, и - никакой работы...

Какая же работа после того, как тебя сбили?.. Лежи на небесных полатях и думай о вечном... Или плыви на спине через все океаны...

Кому служила рубашка, коричневая с зеленым, клетчатая ковбойка из теплой фланели?.. Чем занимался с утра ее бодрый хозяин, пока мы его не сбили?..

Камера укрупняет рубашку, выуженную из океанской волны, и вот надпись на фирменной марке: "Canada shuingo"... Канада... Ковбойка совсем цела, хоть сейчас на работу...

Камера укрупняет неровные ломти обшивки, рваные щели в крашеном металле и номерную отметку 132-058...

А вот и кукла с открытыми глазами, кукла, смотрите!..

И фото трехлетней японочки, которая держит игрушку...

- Не надо показывать куклу, такую же как у моей Маши!..

А камера - снова куклу!

- Сволочи, гады, подонки, сволочи, гады! - рыдает Зина Шарко, вспомнив трехлетнюю внучку. - Будьте вы прокляты, гады, сволочи, гады, подонки!..

И Зина долго плачет, выключив "Pioneer", и не может уснуть.

Кого она проклинает, операторов, что ли?..

Убийца еще безымянен, заказчик тоже...

Саму безумную смерть?..

Какая же тут работа, какие спектакли, когда нас сбили во сне, сбили над океаном?.. (Окончание следует)

13

Прогон "Розы и Креста" Гоге понравился.

Вечером того же дня ко мне в гримерку явилась Дина и, как настоящая сообщница, выложила то, что услышала от Мэтра наедине, потому что при мне Гога, оказывается, был сдержан "из воспитательных соображений" (сколько же можно меня воспитывать?!), а, оставшись наедине с Диной, сказал, что просто поражен, как это Р. удалось в таких условиях повести актеров за собой и за пятнадцать репетиций сделать то, что они сегодня увидели. Дина сказала, что я сдал Гоге экзамен на режиссуру, и он поверил в мои новые возможности. От себя она добавила, что несколько раз плакала во время прогона, а с ней это случается редко, потому что Р. играл Бертрана с полной погруженностью и без всяких "актерских штучек", имевших место в прошедшие времена. Она сказала, что в ней постоянно возникали "блоковские ассоциации" и невеселые мысли о его короткой жизни и трагической судьбе. Поэтому, в отличие от Георгия Александровича, она по-прежнему отдает первое место артисту, а не режиссеру Р., надеется, что он не будет повторять ошибок Сережи Юрского и сделает для себя правильные выводы...

- Имейте в виду, Володя, - заключила наш легендарный завлит, - я снова вас полюбила...

Тут было над чем поразмыслить.

Ну, во-первых, о блоковских ассоциациях, которые у нас с Диной возникли от одного источника.

А во-вторых, за что она меня разлюбила до того, как сегодня полюбила опять?..

Или так: за что она полюбила меня впервые и по какой причине после этого вдруг разлюбила?

Первый трогательный эпизод многажды напоминала сама Дина, а второй, горький, в один из гастрольных вечеров восстановил в моей нетвердой памяти Стржельчик. И ей, и ему я привык доверять.

Итак, по порядку. Летом 1963 года, только что приехав на отдых в знаменитый Дом творчества "Щелыково" на Волге, Д.М. Шварц выразила желание выпить с дороги, однако, к ее и общему прискорбию, оказалось, что выпить в "Щелыково" абсолютно нечего. С местом или временем была связана тогдашняя и тамошняя драма, или это было жуткое стечение многих обстоятельств - не помню. Однако, по словам Дины, артист Р., услышав о ее неутоленном желании, пошел в свой номер и принес оттуда оказавшуюся в последнем запасе чекушку водки. И

вот тут, выпив эту историческую чекушку, Д.М. Шварц впервые его полюбила и, как ей запомнилось, стала изо дня в день славить поступок Р. на всю щелыковскую округу, доводя до персонала и отдыхающих, что в БДТ появился новый артист из Ташкента, исполнитель роли Гамлета, а главное - человек, не пожалевший для нее последнего глотка. По версии Дины Морисовны, она рассказала об этом корифею МХАТа Василию Осиповичу Топоркову с семьей, еще одному мхатовцу Лене Топчиеву, звездной паре из Большого - Кате Максимовой с Володей Васильевым, представителям Малого - Никите Подгорному и Аркадию Смирнову и многим, многим другим. Здесь же, потрясенный масштабом поступка, художник и модельер Слава Зайцев снял со своего плеча роскошный крупной вязки свитер-кольчугу, заставил артиста Р. надеть его на себя и предложил художнику и оператору "Мосфильма" Володе Бондареву сделать фотопортрет героя на фоне щелыковского бревенчатого сруба.

Несмотря на скверную память, события отрицать не берусь, хотя бы потому, что со всеми поименованными лицами и впрямь познакомился там и тогда, а фотопортрет в свитере чудом сохранился. Да и глупо было бы отрицать хоть что-нибудь, даже косвенно относящееся к собственной славе. И все же я справился бы с собой и не привел на этих страницах льстящего мне эпизода, если бы он в гораздо большей степени не характеризовал саму Дину Морисовну Шварц, ее обаяние, простодушие и преданность любимому театру.

Горький же эпизод, связанный с потерей любви и расположения легендарного завлита, следует, очевидно, отнести к концу семидесятых годов, а именно к гастролям БДТ в г. Омске, где, помимо основного репертуара, мы для "поддержки штанов", т.е. ради дополнительного заработка, "отработали" много филармонических концертов и творческих встреч под эгидой общества "Знание". Концерты по линии местной филармонии лихо организовал наш спутник-антрепренер Рудик Фурман, впоследствии, по совету Товстоногова, переименовавший себя в Рудольфа Фурманова, а по линии общества "Знание" во встречах с рассказами о собственном творчестве и прокручиванием избранных кинофрагментов преуспели многие, в том числе Штиль с Неведомским и Рецептер со Стржельчиком.

Так вот, со слов Стржельчика, пересказавшего этот случай в лицах своей жене Люле Шуваловой (я оказался при этом пассивным слушателем), в одном из концертов Р. читал какие-то свои произведения и, вернувшись со сцены за кулисы, с ходу получил совет присутствующего завлита: Володя, лучше бы вы читали не это, мол, а то... Разгоряченный омскими

аплодисментами, Р., не задержавшись с ответом, ляпнул: какое, мол, счастье, Дина Морисовна, что хотя бы в этом я вам неподведомствен... Причем, последним словом Стриж почему-то залюбовался и повторил его на разные лады. "Понимаешь, Люлечка, как она взвилась!.."

Если бы не Слава, который всегда был внимателен к людям и их отношениям и таил в душе польскую любовь к "неподведомственности", я бы не запомнил обмена репликами с Диной Морисовной и всю оставшуюся жизнь гадал, за что же именно Дина Шварц, автор статьи об артисте Р. в "Театральной энциклопедии", все-таки его разлюбила.

И тут следует сказать напрямик, что причина у нее была совершенно уважительная, ибо ответ, вырвавшийся у Р., был не только бестактный, но и возмутительный. Человеку хотят помочь с концертным репертуаром, дают квалифицированный совет, а он - нате вам с кисточкой, не лезьте, мол, не в свое дело... Иносказательная вежливость примененной формы выражения тут сути не меняет, и даже - наоборот, превращает простое "отстаньте" в высокомерное, с издевательским оттенком "атанде!".

Но главное в том, что ответ, включивший слово "неподведомствен", вскрыл подсознательное, а следовательно, глубинное и сущностное несогласие Р. с репертуарной политикой театра вообще и его легендарного завлита в частности. Вы только вслушайтесь: какое счастье, что хотя бы в этом... и т.д.

Безобразие. Наглость и безобразие.

И, конечно же, глупость, если не полный идиотизм.

Ну какая, к черту, может быть дурацкая "неподведомственность" внутри мудрого и почти совершенного ведомства?

Вот еще когда, оказывается, открыто проявились отщепенские свойства артиста Р., его отвратительное стремление к полному сепаратизму, черта болезненная и, кажется, неискоренимая...

Ну да, после прогона "Розы и Креста" Дина снова меня полюбила, но опять-таки не навсегда, не до конца дней...

...- Нельзя же теперь такое писать, - убежденно сказала хозяйка.

- Почему нельзя? - спросил я.

- Я пробовала, но пришла эта дама и попросила вычеркнуть...

- Позвольте, Нина Флориановна, - растерялся я, - что за дама вас наставляла?

- Я уж не помню, как ее звали, сказала, что из музея Блока, она велела вычеркнуть все такое, и мне ничего не оставалось...

- Нина Флориановна, - сказал я со всей убедительностью, на которую был способен, - забудем про даму, откуда бы она ни

приходила!.. С вашего позволения, я включу эту бандуру, - я показал на магнитофон, - и вы расскажете все, что она просила вычеркнуть.

Речь шла о Блоке, с которым ровесница века и актриса Больдрамта Нина Флориановна Лежен работала все его последнее время...

Знакомы мы были давно, потому что прежде она изредка захаживала в театр, поддерживая связи с уцелевшими сослуживцами, особенно с Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа, старейшиной нашей гримерки. А сегодня я навестил Нину Флориановну в Доме ветеранов сцены на Петровском проспекте, 13...

В ДВС имени М.Г. Савиной Нина Флориановна переехала уже из отдельной квартиры, но, прежде чем получить отдельную, много лет прожила в огромной коммуналке на Лиговке, 21 б, пятый этаж без лифта, с семью соседними квартиросъемщиками. В длинном коридоре плавно накручивали цифирь восемь электросчетчиков, в туалете и ванной один за другим щелкали восемь и восемь шестнадцать выключателей, а в общей кухне на восемь столов и тумбочек вспыхивали открытые конфликты, которые удавалось погасить только ей.

Нина Флориановна вплывала в эпицентр боевых действий в своем излюбленном халате с цветами и узорами, перепоясанном широким и плотным бордовым кушаком, и глубоким проникающим голосом восстанавливала порядок и справедливость.

Нужно сказать, что в Больдрамте после смерти Блока Нина Флориановна задержалась до первой высылки мужа, потом поработала в провинции и всю оставшуюся творческую жизнь провела в Александринке, пользуясь заслуженным авторитетом и здесь.

Когда в годы террора исчезал особенно дорогой человек, она шла просить о нем "депутата Балтики", народного артиста Советского Союза Николая Константиновича Черкасова.

- Нина, - строго спрашивал он, - ты за него ручаешься?

- Коля, как за саму себя, - отвечала она, приложив к груди свои правдивые руки.

Вернувшись из лагерей, артист Вальяно поведал, как его пытал следователь активист художественной самодеятельности. Этот драмкружковец завидовал арестованному профессионалу и на много часов запирал его в платяной шкаф. Потом, с помощью подручных, он переворачивал шкаф вместе с подследственным вниз головой и снова несколько часов держал взаперти. В лагерях несчастному обломали руки и ноги, он еле выжил и еле

выкарабкался, но в день смерти Сталина Вальяно плакал на доброй груди Лежен, уверяя ее навзрыд:

- Нинка, он ничего не знал, от него все скрывали, Нинка!..

- Дурак ты, Колька, - отвечала она, - мало тебя в шкафу держали! - и добавляла другие слова, малоизвестные ее французским предкам.

Больше года в коммуналке по Лиговке, 21 б, с Н.Ф. Лежен соседствовал добрый друг БДТ журналист Лева Сидоровский, написавший для наших "капустников" тьму смешных реприз и куплетов. Он был холост, любознателен и часто разговаривал с ней о жизни. Как-то, вознесясь над всеми коммунальными девушками и их бесчисленными ухажерами, Нина Флориановна сказала ему:

- У меня было всего три любовника, но это были Блок, Горький и Борисов Александр Федорович...

Возможно, в этом заявлении, которое произвело сильное впечатление не только на Леву, было некоторое преувеличение или, скажем, вольная трактовка действительных отношений с названными мужчинами, но слово - не воробей, и, стало быть, у Нины Флориановны имелись если не внешние, то внутренние или воображаемые обстоятельства для того, чтобы это сказать...

Я имею в виду не всех троих, а интересующего нас в данном случае основоположника БДТ Александра Александровича Блока...

И вот хозяйка упомянула о вычеркиваниях, а Р. попросил разрешения включить принесенный с собой магнитофон "Вега". Встреча происходила за три года до поездки на японские острова, когда, приобретя радиотехнику, театр, по словам Вадима Медведева, "сильно озвучился". И допотопная "Вега", находящаяся на балансе БДТ, понадобилась Р. по той простой причине, что у него еще не было собственной звукозаписывающей аппаратуры.

Ни мини-системы "Хитачи", состоящей из четырех поставленных друг на друга блоков: автоматического проигрывателя с прозрачной крышкой, оберегающей пластинку от пыли, приемника, усилителя и двухкассетного магнитофона с двумя стереофоническими колонками...

Ни даренного фирмой изящного переносного приемника "Саньё" с белой панелью, встроенным микрофоном и монокассетником...

Ни карманного "малыша", или "Сонечки", как я, в зависимости от настроения, называл миниатюрный профессиональный диктофон "Сони", по размерам и форме напоминающий карманную записную книжку в кожаном футлярчике, купленный за тридцать тысяч у того же Ежика...

- А почему у меня нет такого? - строго спросила Дина Шварц, увидев у меня еще не испорченную "Сонечку". - Откуда это у вас, Володя?

- Из Японии, - вяло объяснил Р.

- А-а-а, - понимающе сказала Дина. - Подарок фирмы?

- Подарок судьбы, Диночка, - сказал он. - Это я сам купил...

Р. было неловко: рядом с "неозвученной" Диной он чувствовал себя магнатом аудиотехники. Конечно, гастролеры скинулись ей на подарки, привезли сувениры, но ощущение глубокой несправедливости не проходило: к моменту волшебной поездки на острова именно Дина оказалась невыездной.

Товстоногов не поленился заказать пропуск в обком и спросил там напрямик кого-то отвечающего:

- Почему вы не пускаете в Японию моего завлита? Она мне нужна.

Ответ был такой:

- Потому что она плохо воспитывает свою дочь.

Стихи Лены Шварц, не печатавшиеся у нас, стали к этому времени печатать за границей и, в отместку за "неподведомственность" Лены, органы не пустили в Японию ее ведомственную мать.

Дина Морисовна Шварц отличалась от других завлитов тем, что ее дивная слитность со своим театром была беспредельна, а личная преданность Товстоногову - беспримерна. Оба эти свойства могли показаться со стороны чрезмерными и даже анекдотическими. Но именно они объяснили театральному миру сущность редчайшего призвания "завлит" и сделали Дину человеком-легендой.

Почти все свое время она проводила на Фонтанке, не пропуская Гогиных репетиций, куря с ним наперегонки, записывая его руководящие указания, бессмертные реплики, актерские штучки и шуточки, подавая женские советы, виртуозно ассистируя рабочему процессу и провоцируя Гогины творческие порывы. Весь этот материал впоследствии претворялся ею в необходимые будущим исследователям книги и сборники.

Оказавшись у себя, Дина принималась терзать нервный телефон, выясняя все необходимое обо всем и обо всех. Она хранила страшные тайны, допускала полезные утечки, ласкала лестным вниманием драматургов, строила дипломатические, дружеские и прочие отношения с газетами, журналами и критиками, враждовала с оппонентами, жаловалась на усталость и никогда не уставала. Она отдавалась делу вся и без остатка и, подчиняя жизнь божественной сверхзадаче, днем и ночью вдохновенно лепила рукотворный миф о Великом Театре.

В ее маленький прокуренный кабинетик у лестницы, перед входом на галерею бельэтажа, вблизи от левой, Гогиной ложи, несли свои замыслы, признания, жалобы, надежды, доносы, просьбы и покаяния народные, заслуженные и простые артисты и артистки, и даже лауреаты государственных премий, навзрыд и напропалую делясь с ней самым интимным в оправданной надежде на то, что Дина поймет и замолвит за них словечко перед Гогой.

Не все, не все ходили, но многие...

И сам Гога не только зазывал ее к себе, но и навещал лично, чтобы, усевшись на диванчик и закурив, поделиться идеей или анекдотом, пожаловаться или похвастаться, обсудить новинки литературы или извивы и прогибы современной общественной жизни, выстраивая ближние и дальние планы.

Что касается репертуара, то, с одной стороны, Дина искала и находила пьесы честные, человеческие, иногда радикально-смелые, а с другой - изыскивала что-нибудь верноподданническое и премиально-наградное, однако, с оттенками проблематической свежести и даже эстетической новизны, дающими возможность эту самую верноподданность камуфлировать и выглядеть по тем временам вполне "прогрессивно"...

Важно сказать, что перу Д.М. Шварц принадлежат все или почти все исторические приказы по театру, справки для начальства, представления к наградам и званиям, бесчисленные характеристики, приветственные письма и телеграммы от имени коллектива и лично Г.А. Товстоногова, и во всем этом делопроизводстве и бумаготворчестве ей не было равных.

Когда один из директоров попытался вступить с нею в соревнование и, запершись в своем кабинете, сочинил в поте лица пару праздничных приказов, Дина не смогла скрыть своего презрения и стала называть его графоманом.

Сколько я помню, Дина всегда была по-женски одинока, и это тоже казалось вполне естественным, потому что нельзя же быть настолько преданной театру и в то же время принадлежать какому-то постороннему мужчине.

В молодости она была очень привлекательна, и, кажется, у нее тоже был роман с Гогой. Лена помнит свое детское время, когда Гога будто бы выразил желание жениться на Дине, но этому воспротивилась его сестра Нателла, которая, по-видимому, всегда этому противилась. Во всяком случае, так могло показаться со стороны.

Следует отметить еще одну характерную черту нашего завлита: Дина Морисовна удачно успевала на все юбилеи, дни рождения, парадные и непарадные застолья, фуршеты и

посиделки; если что-нибудь междусобойное затевалось в буфетах, гримерках, мастерских, реквизиторском, бутафорском или других цехах, она с поразительной точностью появлялась в нужное время и в нужном месте. Может быть, из-за этого редкого чутья Дине однажды присвоили звание "Бабушка русского банкета".

Во множестве версий рассказывают, например, случай, произошедший на борту военного крейсера "Киров", и у меня нет другого выхода, как посильно его передать.

14

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что одной из составляющих жизни каждого советского театра была так называемая военно-шефская работа, которая выливалась в воскресные культпоходы солдат или матросов на "утренники" или в праздничные шефские концерты в частях и на кораблях. Завершались они обычно братаниями шефов и подшефных за щедрым банкетным столом.

Само слово "шефский" имело несколько смыслов. Ну, во-первых, это значило "безгонорарный", а во-вторых, давало представление о некоем неотменимом почетном гражданском долге, который выполняет каждый служитель Мельпомены, Талии и даже Терпсихоры, давая "шефский концерт".

Один наш артист, например, - уж не знаю, называть ли его имя, - уходя на ночь к неизвестной подруге, убеждал жену в том, что у него сегодня опять ночная съемка. Однажды она задала ему логичный вопрос:

- Если у тебя есть съемки, почему у нас нет денег?

- Потому что это шефские съемки, - не задумываясь, ответил находчивый муж, и жена довольно долго продолжала ему верить. Поскольку артист поделился удачным изобретением с товарищами, в обиходе мужской части нашей труппы надолго закрепилось образное обозначение приятных свиданий - ночные шефские съемки.

Но вернемся на крейсер "Киров", который по торжественным датам бросал якорь у "Медного всадника" и где дважды в год - 2 мая и 8 ноября - уже по традиции театр давал шефский концерт, а команда отвечала подшефным банкетом.

Однажды, 8 ноября, Дина Шварц, погорячившись, забыла на крейсере свою шерстяную кофточку. То ли в дальнейшем ей было недосуг, то ли "Киров" на всю зиму отчалил из города, но до очередного совместного мероприятия, т.е. до 2-го мая следующего года, команда бережно хранила личную собственность нашего завлита.

Наконец, майская встреча состоялась и прошла, как всегда, тепло, причем аккуратно завернутую кофточку, успевшую за отчетный период сходить в боевой поход, в торжественной обстановке вернули хозяйке.

Шли уже последние братания и поцелуи, как вдруг, по неизвестной причине, наш дорогой завлит полетел с корабельного трапа и заплескался в холодной Неве.

- Женя, я тут, - доложила Дина из воды парторгу Горюнову,

чтобы он не очень волновался, не найдя ее в другом месте.

- Полундра, - негромко сказал вахтенный, - человек за бортом!

И тут капитан крейсера "Киров", высокий и красивый мужчина, вышедший проводить гостей в белой нейлоновой рубашке, не задумываясь, прыгнул за Диной Шварц...

- Что там у вас в руках, бросайте! - приказал он Дине, держа ее за воротник.

- Что вы, как можно! - отвечал ему наш стойкий завлит. - У меня в одной руке - кофточка, а в другой - телефоны всех драматургов Советского Союза!..

Зина Шарко застала Дину уже дома, лежащей в постели, с совершенно счастливым лицом: она была в матросской тельняшке и рассказывала подруге важные подробности.

- Представляешь, Зина, это пальто, которое я у тебя купила, - настоящий размахай, - оно меня и спасло, потому что я не умею плавать, и в нем было тепло... Но, главное - капитан, такой высокий и красивый!.. Никогда не прощу Лаврову, он разговаривал с каким-то старым большевиком и не видел самого главного!.. Представь себе, мы плывем, вода холодная, мимо проплывают льдины, и все матросы отдают нам честь!.. Я поворачиваюсь к капитану и спрашиваю: "Вы женаты?". Он отвечает: "Да", а я ему говорю: "Очень жаль"... И вот нас вытаскивают на корабль, и все матросы и офицеры собираются вокруг меня, и один говорит: "Раздевайтесь", а я ему говорю: "Как можно, вы же мужчина", а он мне отвечает: "В данном случае я доктор". И тут все с меня снимают и надевают на меня тельняшку, вот эту, и брюки, правда, брюки были мне все-таки велики, и относят меня в кубрик, и дают мне выпить спирту, чтобы я не заболела, и все мне рассказывают про своих мам и бабушек; а потом - меня везет домой капитан. Ах, Зина, какой же он высокий и красивый!.. И когда он привозит меня, я снова его спрашиваю: "Вы женаты?". А он опять отвечает: "Да". И я ему: "Очень, очень жаль!..".

Коснувшись этого эпизода, я обязан привести также версию Елены Шварц, которая свидетельствует о том, что в руках у плывущей "по-собачьи" Дины Морисовны были не прошлогодняя кофточка и записная книжка с телефонами драматургов, а "две сумки" и неизменная "сигарета в зубах". Героем Лена считает не капитана крейсера "Киров", а его старшего помощника, а пальто, в котором совершался заплыв, названо ею "тяжелой мутоновой шубой".

Версия Елены приведена автором не для уточнения деталей, а, наоборот, для их расхождения и вариативности, как

авторитетное подтверждение безусловно легендарного факта.

Говорят, что после этого случая на Балтийском флоте был отдан специальный приказ: "Прекратить в праздничные дни посещение трудящимися боевых кораблей!".

Пленку "Свема" с записью, сделанной на магнитофоне "Вега", Р. передал Дине Морисовне Шварц, и все записанное произвело на нее большое впечатление.

...- Что я вычеркнула? - переспросила Нина Флориановна Лежен. - Многое... Ведь что было? Теперь все это сглаживают или вовсе не говорят... В то время, когда Александр Александрович у нас работал, они с Мейерхольдом просто враждовали... Потому что Мейерхольд требовал искать новое искусство, а Блок был против всяких исканий и так нам прямо и говорил... Правда, они вели себя по-разному, потому что Александр Александрович был человек очень деликатный... С чего началось... Мейерхольд был страшным поклонником Блока, а Блок сначала был немножко декадент... Ну, вы понимаете... И Александр Александрович дал свои первые вещи Мейерхольду, чтобы тот поставил их в театре Комиссаржевской... А в шестнадцатом году, когда Блок написал "Розу и Крест", он категорически отказал Мейерхольду и отдал пьесу во МХАТ...

Здесь можно было уточнить, что "Роза и Крест" написана в 1913-м, но Р. не стал перебивать Нину Флориановну.

- Он сам говорил нам, и не один раз, что у него изменились взгляды, и проповедовал самые простые вещи, даже мелодраму. Он предлагал поставить "Две сиротки", "Потерянного сына" - то, что Островский переделал потом в "Без вины виноватые"... Блок говорил, что народу нужен "черный хлеб" искусства, а не "креветки", "устрицы" и все такое... Понимаете, он хотел, чтобы все было настоящее - и страсти, и декорации, и костюмы, ну, там, бархат, например, и прочее... И в театре все это было. Ведь я даже носила на сцене подлинное платье Вырубовой, и мебель настоящая была взята из богатых домов, можете себе представить... Правда, это было уже позже, в "Заговоре императрицы" Толстого и Щеголева. Алексей Толстой жутко у нас напивался, особенно на генеральных репетициях, однажды его просто вырвало, он чуть это шикарное платье мне не испортил, это был ужас какой-то, не люблю этого Толстого... "Розу и Крест" Блок мечтал поставить абсолютно реалистически... Да, сам... Он хотел попробовать, получится ли у него быть режиссером. Александр Николаевич Бенуа был прекрасным художником и прекрасно ставил спектакли... И Блок тоже хотел попробовать... А Мейерхольд в это время был просто нашим гонителем... Почему он нападал так страшно на Большой драматический?.. Он же

травил Бенуа, буквально травил: "Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти... "Миру искусства" нет места в советском искусстве..." и прочее. Мы все это очень переживали, поверьте!.. Почему это сейчас просят вычеркнуть и все сгладить, как будто этого вовсе не было?! Но это - было... Да, он сам пострадал, и его потом самого уничтожили, но он заваривал эту кашу, он сам это все начинал и объявил "Мир искусства" какой-то вредной, контрреволюционной организацией, понимаете?.. Ведь это он довел до того, что Александр Николаевич Бенуа вынужден был уехать. А ведь он вовсе не хотел уезжать... И мы все страшно не хотели, чтобы он уезжал... Но Мейерхольд его просто терроризировал. Что ни постановка Александра Николаевича, Мейерхольд ее, понимаете, просто раскассировывал!.. Это был какой-то ужас!.. Он же был главный в искусстве!..

Она помолчала.

- Я знаю, Геннадий Мичурин мне сам рассказывал, ведь они вместе с Царевым давали показания против Мейерхольда, и за это их быстро выпустили... Но Царев об этом всю жизнь молчал, а Геннадий сознавался и каялся... И Мейерхольд сам оказался жертвой...

Если бы она время от времени не затихала в задумчивости, Р. и вопросов бы не задавал, а слушал бы и только. Но она умолкала, заглядывая в глаза оглянувшихся дней, и он старался заполнить для себя вычеркнутые кем-то куски. А в паузе, после слов "почитали по ролям", Р. и вправду увидел вместе с ней: вот они собрались за столом, сидят, молодые и полные веры в него, держат роли в руках, звучит знакомое начало, песня о радость-страданье, и оттуда, издалека накатывает волна неровного, нервного и необычного стиха...

Старая актриса подхватила эту волну, и Р. подчинился, дав себя заворожить плавному течению ее дивной речи, роскошной петербургской манере с прелестными оговорками, отменной выделке звонких слов, которой нигде больше нет, как в нашем городе, дворянскому призвуку удивленных интонаций, интеллигентному складу недающихся фраз, легким баскам простонародных присловий. Это было, конечно, сопрано с просторными низами и золочеными взлетами...

Звуковой поток из другого времени, вот что колдовало и заколдовывало, и Р. сводил несхожие схожести, нельзя было не сводить, потому что Анна Андреевна Ахматова говорила совсем не так, а все так же, по-сестрински, однако бережливей к каждой фразе и любому отдельному словцу, чуток ниже и гораздо медленнее...

Кто скажет, какие странности начинают себя находить в

соседстве двух завороженных чудаков, прикованных к одному и тому же созданью. Что тут является кроме инако настроенной речи в знойном мареве внезапного откровенья?..

Не стану присваивать божественные строчки, это Ахматова обняла событие тремя властными словами: "Беседы блаженнейший зной".

Это она с великим пристрастием расспрашивала артиста Р. о некоем Шекспире, а верней, о другом авторе королевских кровей, который скрылся под этим именем. Как будто Р., сам того не понимая, но рискуя играть Гамлета, виделся с теми двумя, о ком она заводила речь.

Что мы знаем о рукопожатье времен на краях трехсотлетнего провала? И что еще сообщила Р. Анна Ахматова кроме того, что успела сказать?..

А она тоже виделась с Блоком...

Они пили чай с тортом и улыбались друг другу, прекрасная петербурженка около восьмидесяти лет и средних лет самозванец, пытающийся толковать "Розу и Крест". И чай, и чашки с блюдцами, и кружевные салфетки на столе, и сад за окном, и летнее солнышко сквозь листву - все было кстати.

- Он оживился, когда появилась надежда на "Розу и Крест"? - спросил Р.

- О, да!.. Вы не можете себе представить!.. Он пришел окрыленный... Ведь это была мечта его жизни!..

И Р. повторил за ней, играя роль эха:

- Мечта его жизни...

- И когда он понял, что Гришин говорит не всерьез и ничего этого не будет, - а Гришин испугался, когда узнал про наши репетиции, - Александр Александрович был страшно огорчен... Он был... просто... смертельно...

Она искала нужное слово.

- Оскорблен?..

- Да, конечно, но не только это... Но он держал себя великолепно, вы знаете... И на последней репетиции он нам сказал: "Извините, что я заставил вас зря работать"... Вы не можете себе представить, какой это был деликатный человек!.. Он просил прощенья у нас, которые счастливы были продолжить несмотря ни на что!.. И мы начали орать: "Что вы, Александр Александрович! Разве вы не понимаете, что мы с вами, что мы готовы, и так далее, и так далее...". Но он этого не хотел допустить... Мы все его очень любили... Его нельзя было не любить... Вы бы видели, какой он был на своем вечере в БДТ... Это был - живой покойник... Да, да... Жена Павла Захаровича Андреева ему нравилась, Андреева-Дельмас, мы знали... Ему

нравились такие, основательные женщины... Но внетеатральных отношений у него ни с кем не было... Сидел он всегда, знаете, в кабинете Лаврентьева, хотя какой это был кабинет, когда там холод собачий был... Это в оперной студии... А в Суворинском, на Фонтанке, любимое место был кабинет Бережного, администратора, это в бельэтаже... Дома я тоже бывала у них: то Любовь Дмитриевна позовет, то Комаровская... Вот я была с Комаровской, и он говорит Юрию Лаврову, которому было пятнадцать лет, и отец его был директором гимназии... Блок говорит Юрию: "Вы еще малограмотны, вам надо учиться". Я уж не поняла, о стихах была речь или об актерстве... Он потом великолепным актером стал. А однажды Блок пришел на репетицию, мы смотрим - на нем лица нет... Но нельзя же об этом писать...

- Нина Флориановна, ради Бога, рассказывайте, как было, а писать или не писать, время покажет...

- Мы спрашиваем: "Что с вами, Александр Александрович?". "Да ничего, отвечает, - не спал всю ночь". - "Да почему же вы не спали?" Пристали к нему, он не хотел отвечать, потом все-таки вытянули: "Пришли матросы", - понимаете? Братишечки пришли! "Они нам сказали, что у них ордер на лишнюю площадь. Стали выбрасывать книги в коридор... Всё выбросили... Ну, конечно, пришлось... Я собирал книжки всю ночь..." Ну, когда мы это от него услышали, все опять заорали: "Как же можно?.. Почему вы им позволили?.. Почему не позвонили Марии Федоровне, надо было сразу позвонить Марии Федоровне...". Это Андреевой, не жене Павла Захаровича, не Дельмас, а Горького жене... А он: "Ну что я буду ее беспокоить?". Вы представляете?.. Не хотел беспокоить... Ну, когда Мария Федоровна об этом узнала, моментально переселение сделали... А Любовь Дмитриевна, как вам сказать... Она ведь поступила в Псковский передвижной театр, в труппу Беляева, а там Сергей Радлов был... И потом, с ним, она служила в "Народной комедии"... А Радлов был учеником Мейерхольда... И они страшно ругали Большой драматический, вы не можете себе представить, как... "Истлевший гроб с пышными кистями, украшенный..." и так далее, и так далее... Понимаете - гроб. Как ему было такое слышать?.. От кого-то ладно, а от нее?.. Ведь она была с Радловым заодно... Они с Блоком не разговаривали по месяцу... Он, конечно, это от нас скрывал, но мы догадывались. Да что там, знали... Правда, когда он заболел, перед смертью, она уж от него не отходила... В театре ведь живешь - ничего не скроешь...

Услышав этот жутковатый образ - "истлевший гроб с пышными кистями", - Дина Шварц остановила магнитофон,

поежилась и стала закуривать сигарету.

У нее была не одна, а две или даже три разные пепельницы, но еще одну, маленькую, изящную круглую коробочку-открывашку, она носила с собой в сумке и доставала, куда бы ни пришла, в том числе и у себя в кабинете. И все-таки пепел с ее сигарет не вовремя срывался и помечал все вокруг - книги, пьесы, заваленный бумагами рабочий стол, малые островки тесного пола.

- Все это обязательно надо напечатать к юбилею, - сказала Дина. - Вы хотите это опубликовать?

- Как выйдет, - сказал Р. - Надо ведь расшифровать... Нет, мне, пожалуй, не успеть... Если у вас есть возможность, пожалуйста, печатайте...

- Спасибо, Володя... Но какой ужас услышать про свой театр - "истлевший гроб"!..

- Да, - согласился Р. - Блоку досталось...

Уйдя, наконец, из Большого драматического - хочешь быть "неподведомствен" - уходи! - и проведя немало лет на полной свободе, Р., как было сказано, напечатал маленькую повесть "Прощай, БДТ!". И, несмотря на авторскую оговорку: это, мол, его единоличное прощание с оставленным домом, невзирая на грубый экивок в виде письма внутри повести в адрес Дины Морисовны Шварц, легендарный завлит уже в самом названии усмотрела возмутительный похоронный оттенок.

И Гоги уже не было на свете, и многих других, а она все воевала, и воевала с проявлениями вольномыслия по отношению к БДТ...

Мы встретились на юбилее петербургского ТЮЗа, и, двигаясь мимо, она успела отрецензировать публикацию.

- Володя, - сказала Дина, - все хотят прочесть, в библиотеке - очередь, моя подруга записалась двадцать второй... Но я прочла! - И погрозила мне маленьким сморщенным кулачком.

- Дина, - сказал я, - все ждут книги от вас!..

- Я так не могу, - ответила она, - это беллетристика! - И пошла садиться на свое почетное место.

После торжественной части мы увиделись уже у банкетного стола, но не сразу, а перед тем, как ее увезли домой.

- Володя, - сказала Дина усталым языком, - это было ужасно, что, когда ТЮЗ поздравлял БДТ... нет... когда БДТ поздравлял ТЮЗ, Андрюша Толубеев вынес меня на руках?.. Еще покажут по телевизору!..

- Это было прекрасно, Дина, - сказал я. - Вас давно пора носить на руках. Жаль, что я в свое время не догадался.

- Нет, Володя, - сказала она, - это было все-таки ужасно... - У

нее было растерянное, почти отсутствующее лицо. - Но ваша повесть... Я не знала, что вы отказывались падать в "Горе от ума"... Это же была главная мизансцена!.. Вы представляете себя таким героем...

- Дальше некуда, - сказал я. - Ушел бы раньше, был бы героем...

- А маму Георгия Александровича звали Тамарой Григорьевной, а у вас Тамара Михайловна, - сказала Дина.

- Вот это ужасно, - сказал я, - тут я с вами полностью согласен!..

Когда Дина умерла и с кладбища вернулись в театр, прощальное застолье выглядело странно: как же так, без нее?!.

Позже, потом я пришел в опустевший дом, к Лене. Она старалась держаться и приготовила макароны по-римски, то есть с сыром, водку принес я...

Мы помянули Дину и поговорили о ее книге, которую нужно издать, особенно довоенные дневники, совершенно неприкладные и по-настоящему талантливые...

Потом Лена сказала:

- Все кончено, Володя... Оказалось, что я без нее не могу жить... И нищета подступает...

В материнском дневнике для нее осталась запись: "Прости меня, Лена, я была тебе плохой матерью, потому что у меня был другой ребенок: театр и Гога...".

- Но она была замечательной матерью!.. Когда я написала "Вертеп в Коломне", а она прочла или услышала "Театра страшен мне зеленый труп", она возмутилась: "Как ты можешь так говорить о театре?!" - "Почему нет?" А потом, через несколько лет, я слышу: она повторяет, как будто написала сама...

Для БДТ всегда подбирали светло-зеленый колер...

Когда я по Фонтанке прохожу,
То чувствую в глазницах и у губ,
Как пыльная вдруг опустилась завесь,
Театра страшен мне зеленый труп...

Последний разговор с Диной был телефонный. Она проклинала тех, кто не дал Лене литературную премию "Северная Пальмира", и беспокоилась только о дочери, которая ни с кем не умеет ладить.

- Я сдохну, и она сдохнет, - сказала Дина в сердцах.

Слава Богу, что вышло не так.

- Дина Морисовна! Плохое время проходит: скоро выйдет ваша книга, Лена получила премию и едет читать стихи в Сорбонну!.. Все хорошо, Дина, все хорошо!..

15

Я не знаю людей, более беззащитных и трогательных, чем мои дорогие коллеги по театру, да и все артисты вообще. Их великие претензии могут быть внезапно удовлетворены такой малостью, а радость вспыхивает от такого пустяка, что терпеливый читатель, воспитанный на производственных романах, запрещенной в прошлом антисоветчине и хлынувшей на новый рынок всемирной халтуре, может мне просто не поверить.

Однажды токийским утром к компоту из персиков и кофе с булочками прибавились яйца, сваренные вкрутую. Это было уже слишком...

Оказавшись за одним столиком с Валентиной Ковель, мы с Юрой Аксеновым дружно адресовали добавку в ее пользу. Наш маломасштабный застольный жест не был рассчитан ни на рекламу, ни на публичное поощрение. Но Валя Ковель, забыв о больной руке, пришла в неописуемый восторг и закричала Вадиму Медведеву, который находился, конечно же, в другом конце зала, так, чтобы ее услышал весь театр, весь "Сателлит-отель", а может быть, и вся островная империя:

- Вадик!.. Ты слышишь меня?..

- Что случилось, Валя? - встал с другой стороны зала ее встревоженный муж.

- Я счастлива! - крикнула Ковель и победно оглядела замерший коллектив. Вместо проклятых банок, которых у нас уже мало, я буду есть яйца! Ты понял, Вадик, как мне посчастливилось?.. Володя и Юра подарили мне по яйцу!..

С окружающих столиков раздались аплодисменты, и нам с Юрой пришлось скромно раскланяться.

За годы брака у Вали Ковель с Вадимом Медведевым бывали разные периоды, но, на мой взгляд, они составляли счастливую пару. От трудных случаев их спасал юмор, а тяжелые ситуации возникали тогда, когда юмор им изменял.

Валя была бессменной участницей знаменитых "капустников" во Дворце искусств имени К.С. Станиславского, а в концертах они с Вадимом много лет играли инсценировку рассказа В. Катаева "Шубка". Ссора возлюбленных в рассказе возникала в момент, когда Валя начинала подвергать сомнению качество пошедшей на шубку "мездры"; это слово, переходя из уст в уста, повторялось на сто ладов, с беспримерным пафосом и азартом. "Убойный" номер шел "на ура"...

Ковель и Медведев пришли в БДТ вдвоем, зрелыми актерами, рискованно покинув царскую сцену Александринки и заново

начиная жизнь в городе, который их хорошо знал.

Кроме актерской Валя быстро сделала профсоюзную карьеру и стала у нас бессменной председательницей местного комитета. Она подружилась с Нателлой Лебедевой-Товстоноговой, а с Диной Шварц была одноклассницей и ее закадычной подругой еще с довоенных времен и школьного драмкружка.

Но в начале их карьеры на Фонтанке мы с Валей и Вадимом после спектакля, бывало, собирались у Лиды Курринен, заведующей реквизиторским цехом, красивой, статной и всегда сердечно расположенной к артистам женщины, а реквизиторский цех находился буквально рядом со сценой, если смотреть со стороны зрительного зала, то - справа; у Лиды появлялись разные закусочные разносолы, да и Гриша Гай, у которого в то время был почти открытый роман с Лидой, приносил что-нибудь острое в портфеле; а Валя с Вадимом и я вносили свою лепту водочкой или армянским коньяком, который стоил всего четыре рубля двенадцать копеек и не вызывал никаких сомнений в своей подлинности, а уж рюмок и тарелочек где искать, как не в реквизиторском; сюда же, на огонек, могли заглянуть и Дина Шварц, и заведующий труппой Валерьян Иванович Михайлов, и Ефим Копелян, который чаще других должен был уезжать на съемки, и ему после спектакля уже не имело смысла мотаться домой.

Правда, к нашим услугам был еще и оставленный зрителями верхний буфет, но там продолжала действовать буфетная наценка, а здесь, у Лиды, все было почти по-домашнему; но ни водочка, ни коньяк, ни острые закуски, кажется, немного могли добавить к общему острословью, взаимному расположению и беспричинной радости жизни...

К сведению тех, кто кроме зрительского, никакого отношения к театру не имеет. Жизнь артиста чаще всего определяется временем "до спектакля" - это когда многого нельзя, и "после спектакля" - это когда все становится возможным. Именно спектакль и определяет не только внешнюю, но и внутреннюю свободу участника.

Все праведные дела совершаются в предвидении будущего спектакля, и все греховные, а подчас и роковые ошибки падают на время после него.

Потому что спектакль и есть художественный акт, ради которого была выбрана актерская профессия, а всякий художественный акт дает его участнику ощущение особой приподнятости над бытом и даже избранности. А чувство избранности, в свою очередь, начинает диктовать постоянную либо временную вседозволенность. Следы этого всеобщего

моцартианства можно отыскать на театре даже в исполнителе роли Сальери.

Почувствовав на сцене хоть однажды Божью диктовку, любой артист соблазняется тайной мыслью, в которой он, может быть, никогда и не признается: он - существо особенное, не чета толпе, и только его коллеги - хотя и не ему чета - могут оценить его по-настоящему и достойно поприветствовать с бокалом в руке. А закуска и выпивка после спектакля - это что-то совершенно необходимое и даже оздоровительное, разряжающее горнюю атмосферу искусства и дающее возможность плавно перейти к неизбежному бытовому промежутку перед следующим священнодействием.

Поэтому и по тысяче других причин нам хорошо сиделось в реквизиторском цехе у Лиды Курринен.

Но Лиду убили в собственной квартире, как раз в день ее рождения; среди гостей оказались какие-то случайные лица, и, хотя между ними нашелся подозреваемый, который вышел вместе со всеми, а потом, оказывается, вернулся (его и судили), убийство по-настоящему, кажется, так и осталось нераскрытым...

А Валя с Вадимом продолжали играть и много гастролировали с нашим театром, и положение их становилось все прочнее и прочнее, а в этой поездке - особенно, потому что Вадик Медведев играл не только генерала в "Истории лошади", но и судью Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре", и, наученный Валей, даже поставил перед Антой Журавлевой как руководительницей поездки вопрос о гонораре. Потому что, кроме всеобщих суточных, г-н Ешитери Окава платил еще и гонорар за спектакли лидерам гастролей - Лебедеву и Лаврову, не говоря, конечно, о самом Товстоногове. И Анта добилась того, что и Вадиму Медведеву в этой поездке тоже определили гонорар, или "надбавку", приравняв его тем самым к актерским лидерам.

Конечно, если все время проводить вместе с женой - и дома, и в театре, и на гастролях, - жить становится непросто. Мне, театральному отщепенцу, даже подумать страшно, как сложилась бы моя жизнь, женись я хоть однажды на драматической актрисе. И немудрено, что по дороге из Токио в Осаку или из Осаки в Киото Вадик Медведев, случалось, излишне нервничал и, не сдержавшись, просил Валю Ковель перестать его перепиливать и, наконец, замолчать, а не то он ее публично пошлет в известном направлении. И в одной или двух равнинных точках острова Хоккайдо, когда Фудзияма напрочь скрывалась из виду, это направление громко определялось на беспримерном русском языке.

Но все-таки, все-таки они не могли обойтись друг без друга,

вот что тут главное, и Вадик Медведев как-то сказал Зине Шарко, что никогда Валю Ковель не покинет, а если и покинет, то обязательно вернется, что, собственно говоря, и произошло на наших глазах незадолго до японских гастролей.

И Зина, для поддержки разговора, задала Вадиму чисто женский вопрос:

- Почему?

А Вадик сказал:

- Потому что она все-таки очень смешная...

Получилось так, что решение о начале наших гастролей Ешитери Окава принял в день рождения Лаврова, которое тем же вечером отмечали в "Сателлите", и с этой отметки пошли другие празднества и торжества различного масштаба, о которых я тоже обязан буду рассказать.

Р. к Кириллу припозднился, но не опоздал, а застал самое интересное, потому что в это же время приехал его поздравлять посол СССР в Японии В.Я. Павлов в роговых очках темной оправы, невероятно похожий на японца. Впрочем, не исключаю и того, что эту его похожесть преувеличил ушибленный Японией автор. Посол был не один, его сопровождал первый советник, а несколько японских охранников остались сторожить коридор. Таким образом, стране восходящего солнца давалось понять, какое значение Советский Союз придает нашим гастролям вообще и Кире Лаврову - в частности.

Люкс был забит народом, и выпивка шла посменная, волна за волной. Тут были и Гога, и Женя с Нателлой, и Анта Журавлева, и Суханов, и Ковель с Медведевым, и весь худсовет, и вся парторганизация, и артисты не по ранжиру и без лишних чинов...

Кстати, по этому поводу на приеме в посольстве удачно пошутил Женя Чудаков: когда входили наши, кто-то из посольских представлял на японский манер:

- Товстоногов-сан, Лебедев-сан, Лавров-сан, Стржельчик-сан...

Женя объявил себя сам:

- Чудаков, без сана...

В ответ на выступление товарища Павлова, подчеркнувшего все, что нужно было подчеркнуть, и вручившего свой подарок, Кирилл сказал короткую речь в том смысле, что только в нашем демократическом советском государстве посол великой страны приезжает поздравлять простого артиста. О том, что артист - член ЦК и "сенатор", Кира скромно умолчал.

Тогда взял слово Ешитери Окава, решительный, как японский бог, и бледный от принятого решения, и с церемониальным поклоном пожелал имениннику счастья и здоровья и сказал о том, как много ждут на острове Хонсю (или Хондо) от нашего

большого драматического искусства...

Кирилл ответил и Ешитери, выразив надежду, что эти гастроли внесут достойный вклад во взаимоотношения наших народов...

Когда Павлов ушел, уведя за собой первого советника и японских городовых, все стало проще и по-домашнему, дошло до моего книжного подарка, и Кира сказал:

- Пойдем выпьем, Володька!.. Ты что хочешь?.. Водку или саке?

- Саке, - сказал я.

- Лучше водку, - щедро посоветовал Сева Кузнецов.

- Нет, водку я и дома выпью, а здесь хочу саке, - сказал я.

Кирилл казался совершенно счастливым и пытался осмыслить выходящее за рамки протокола событие.

- Ты смотри, что получилось!.. Как мы воткнули японцам! - удивленно говорил он Севе Кузнецову, приглашая в свидетели и меня. - Охранников с пистолями видал?..

- Видал, - сказал Сева.

- А что, эти протестанты могли ведь и в посла пальнуть!.. Или полезть с ножом, - дал волю воображению Кирилл, - что тогда?!

- Да-а, - весело протянул Сева и с сомнением посмотрел на большую бутылку саке.

- Нет, такого еще не бывало, чтобы посол приезжал, - сказал Кирилл. Сева, давай наливай!..

Выпив саке, Р. решил поделиться с Гогой наблюдениями о японцах.

- Георгий Александрович, - развязно сказал он, - не могу избавиться от впечатления, что японцы поразительно похожи на узбеков...

- Да? - переспросил он и предположил: - А может быть, наоборот!..

- Возможно, - сказал Р. - Но вы посмотрите: подчеркнутая вежливость, вкрадчивые повадки... И потом - скрытность, проявления ярости, гортанные звуки... Абсолютные узбеки!..

- Ну конечно, - сказал Товстоногов, - это же одна раса!..

Раньше Р. это в голову не приходило, но теперь, апеллируя к расовому единству японцев с узбеками, можно было идти дальше и просить у Гоги визу на временный выезд в Узбекистан, что он и сделал через день на японской премьере "Ревизора"...

Тут к Гоге подтянулись Владик Стржельчик, и жена Кирилла Валя Николаева, и Вадим с Валей Ковель, и мы все вместе снова выпили саке без подогрева, хотя уже знали, что его следует пить из маленьких чашек и в подогретом виде...

Чокаясь со Стржельчиком, Р. вдруг понял, что Владик

чувствует себя ущемленным, хотя он это, конечно, скрывает, не так, как настоящий японец или узбек, но все-таки довольно успешно. Может быть, Р. потому это и почувствовал, что Стриж скрывал в точном соответствии с теорией Станиславского: уж больно артист хороший, а чем активнее скрываешь, тем это заметней зрителю...

Конечно, что же это получалось? И Женя Лебедев с женой, и Кира Лавров с женой, и оба будут гонорар получать. Даже Вадя Медведев с женой и гонораром. А он - и без жены, и без гонорара, и без любимых ролей, и день рожденья у него совсем в другом месяце. А у Киры в том же, что у Гоги. Не говоря уж о приходе посла и японских охранников...

Чего-то он все-таки все время не добирал, несмотря на то, что имел для этого все основания. Во всяком случае, не меньше, чем остальные. И это его угнетало.

Да, товарищи по партии раскачали, верней, спровоцировали Славу выступить на объединенном пленуме творческой интеллигенции с пламенной речью против всяких предателей и диссидентов типа Сахарова и Солженицына.

И он выступал, и громил, и краснел, играя чужую речь как настоящий актер, и даже сорвал соответствующие аплодисменты.

Но это тоже его мучило, потому что потом не отстали, а, наоборот, позвали к Барабанщикову и предложили вступить в антисионистский комитет...

Не успели мы начать репетиции "Розы и Креста", как Стриж сыграл у нас роль трагического вестника. Он пришел в театр в неурочное время, после двух, когда репетиция уже закончилась, и сказал:

- Умер Володя Высоцкий.

Мы только что вышли из зала и толклись в предбаннике у актерского буфета. Кто-то сказал: "Бросьте шутить", кто-то - "Перестань", но большинство в один голос сказали ему в ответ:

- Не может быть.

И я, как все.

Тогда он сказал:

- Сегодня, в четыре утра... От обширного инфаркта...

Теперь все слушали его.

Помедлив, Слава объяснил:

- Сандро из Москвы звонил Гоге... А Гога сказал мне... Так докатилось...

Мы были еще в шоке, когда Стржельчик закончил сообщение так:

- Вот был гражданин... Совсем себя не щадил...

Гражданская тема до нас еще не доходила, но этими словами

Владислав Игнатьевич успел обозначить важный для него смысл. Теперь степень гражданственности уже напрямую и окончательно была связана со степенью беспощадности к себе. Очевидно, именно эта мысль была главной в разговоре Стрижа и Гоги.

Р. еще не остыл от работы и по инерции думал о Бертране и Блоке, и новая смерть резко вошла в состав блоковских загадок.

Володя умер накануне столетнего юбилея - вот "странное сближение"...

И возраст приблизительно совпадал...

Блок и Высоцкий... Вот они и встанут теперь "почти что рядом": тот - на "Б", а он - на "В"...

А мы начали репетировать "Розу и Крест" двадцать второго июля - за три дня до Володиной смерти.

Что такое трагедия? Это - "не может быть". То, что не должно случиться и все-таки происходит. Все событья - за гранью, и судьба - вопреки всему...

Я подумал о том, что ему уже не сыграть Бертрана, а это - его роль... И о том, что легко отдавать свои роли, когда знаешь, что их не возьмут...

Его Гамлета я так и не видел...

А он моего, может быть, посмотрел...

Похоже, это было летом шестьдесят второго... Или шестьдесят четвертого... но точно - в теплое время. Его привели в ресторан гостиницы "Центральная" на встречу со мной, в середине дня, во время московских гастролей. Тогда мой Гамлет прошумел по Москве, а Высоцкого еще не все знали. Кто-то из моих ташкентских учеников был с ним знаком, кто-то из ребят того курса, на котором я начал работать сразу после окончания института.

За столом сошлось человек десять, ташкентцы и москвичи, в основном студенты, и вышло, что Высоцкий и Р. сидели по торцам стола и посматривали друг на друга. Пили красное вино с какой-то слабой закуской: денег - кот наплакал. И Володя был без гитары.

Что-то ему говорили обо мне, а мне - о нем.

Когда допили вино, Володя сказал:

- Ну хорошо... Посмотрим...

И мы пожали друг другу руки.

Может быть, реплика была немного другая, но мне показалось, что в ней было больше одного смысла. Мол, не только спектакль посмотрим, но и как обернется дело. Кто, мол, из нас больше прошумит по Москве.

Кажется, имелся в виду именно Гамлет.

Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и теперь, когда он умер,

Гамлет давал уже обратный свет...

Зачем в тот день Стриж взялся быть вестником смерти? Зачем поехал в театр в неурочное среднее время? Зачем искал встречи с блоковской стайкой?..

Разве тот, кто сообщает о чужой смерти, заговаривает свою?..

Я прошу ответить мне, господа судьи!

В чем мистический замысел роковой вести? Кличет она гибель диктора или отдаляет?.. Или всегда по-разному, и нам ни за что не узнать?..

Кому подчиняется вестник, скажите?..

И последний вопрос, господа.

На какой глубине подсознания возникает простая подсказка: скажи не тем, а этим, и не тому, а ему?..

О смерти Ефима Копеляна артисту Р. позвонил Гриша Гай...

О смерти Павла Панкова его известил на Невском Юра Стоянов...

Неможетбытьнеможетбытьнеможетбыть...

Можетможетможет...

Низкий поклон.

А с Люлей Шуваловой Стржельчик познакомился во время гастролей БДТ в Сочи в 50-м году. Цвела магнолия, благоухал эвкалипт, называемый в народе бесстыдницей. Стржельчик, которого все называли то Славой, то Владиком, был молод, красив, как Пан, играл романтического героя в "Девушке с кувшином" и все остальные роли героев-любовников. Он оглашал южные вечера страстной декламацией и имел сногсшибательный успех у отдыхающих и местных женщин.

Разумеется, познакомившись с такой красавицей, как Люля, Владик тотчас пригласил ее на свой спектакль, где он блистал ярче влажнеющих от моря звезд...

Когда действие завершилось, Люля ждала Владика на скамейке, и герой, опьяненный аплодисментами и цветами, сел рядом, твердо веря в скорое развитие событий. Он еще раз победительно оглядел юную москвичку: она была воистину хороша и, получив театральное образование в Нижнем Новгороде, как никто другой могла оценить его триумф.

Конечно, дело должно было начаться с комплиментов артисту, и Владик ждал, когда они прольются на его белокурую голову. Но комплиментов не было. Молодые люди обменивались общими фразами о Москве, Ленинграде и южной погоде. И тогда, не выдержав, Владик задал Люле прямой вопрос:

- Как вам понравился спектакль?..

Люля заплакала.

Владик был взволнован: такого глубокого сопереживания он

не ожидал. Дав Люле воспользоваться платком, он решил ускорить признанье и ласково коснулся девичьего плеча.

- А как вам понравился я? - спросил он, наполняясь настоящей нежностью.

- Это было ужасно! - сказала Люля и зарыдала еще безутешнее.

Стржельчик был совершенно сражен: такой прямоты и решительности суждений он еще не встречал. С этого момента и началась его долгая и счастливая зависимость от Люли и ее авторитетного мнения.

А ее не взяли в Японию! Как хотите, но это было несправедливо.

Может быть, изложенная мною история знакомства Люли и Владика в действительности выглядела не совсем так или даже вовсе не так, и Владик рассказал ее мне, сгустив романтические краски, но я слушал его рассказ во время гастролей в японской столице, и в моем потрясенном сознании она запечатлелась именно такой...

Позже, уточнив год и место действия, я спросил Людмилу Шувалову, так ли это было.

- Примерно так, - сказала Люля, - только я не плакала.

- А Владик сказал, что плакала, - растерялся я.

- Ему показалось, - сказала Люля.

На этом простом примере, вслед за великим Куросавой, легко убедиться, как многогранно прошлое, как дробятся в нестойкой памяти разных героев одни и те же факты и как трудно потом доказать что бы то ни было...

Но, закутываясь в туман версий и разночтений, не забудем о том, что Фудзияма была близка, как сама истина, сияя чуть левее и впереди нашей ежедневной дороги.

Откажемся от доказательств.

Тот, кто увидит Фудзияму, обязан быть счастливым.

16

Я не был уверен в том, что он - это он. Потому что его заметки о Японии были подписаны другим инициалом. Но фамилия совпадала. И даже если бы он оказался кем-то другим, он все равно должен был быть, по меньшей мере, из Ташкента. Или из Самарканда. Или из Ферганы...

Короче говоря, я позвонил в посольство, благо, дежурный телефон нам всем велели записать на всякий пожарный случай...

Хотя куда уж пожарнее: американцы говорили, что советским летчикам, которые подожгли южнокорейский "Боинг", нужно немедленно предоставить бесплатную поездку по Америке, пригласить в Белый дом и рукой президента приколоть высшие армейские ордена. Они добились такого эффекта, какого не могли бы добиться несколько бригад американской морской пехоты.

Раньше японцы хотели освободиться от американского морского присутствия и от их военной базы на острове Окинава. А теперь хотят освободиться прежде всего от нас. И уже во вторую очередь - от американцев.

Итак, я позвонил, и дежурный по посольству откликнулся. Когда я назвал себя, он сказал:

- Как же, Владимир Эммануилович, я вас знаю. Мы с женой видели вашего "Гамлета".

- Ну вот, легче разговаривать, - сказал я, - у меня вот какой повод: нельзя ли с вашей помощью узнать токийский телефон корреспондента Рашидова? У меня такое предчувствие, что он - мой земляк, а может быть, даже одноклассник...

Дежурный сказал:

- Ну, это вряд ли, Владимир Эммануилович, он выглядит старше вас.

Я сказал:

- Внешность обманчива, у меня внук есть.

Он сказал:

- Тогда, пожалуй, возраст подходит... А разве вы не ленинградец?

Я сказал:

- Теперь ленинградец, а учился в Ташкенте.

Он сказал:

- Опять подходит... Он оттуда... Его телефон: 582-55-47.

Я сказал:

- Спасибо... А как его имя-отчество? На тот случай, если это не он?..

Он сказал:

- Это вам будет трудно... Его зовут Каххар, через два "ха", Фаттахович, через два "тэ".

Я сказал:

- Для меня нетрудно. Я больше двадцати лет жил в Ташкенте. Хотя одноклассника звали не так.

Он сказал:

- Рашидов сейчас в отпуске, должен вернуться через пару дней. А вы пока приходите к нам, было бы приятно встретиться, поговорить... Мы тут с вашими ребятами обмолвились о футбольном матче... Хорошо бы в субботу...

Я сказал:

- Я-то, к сожалению, в футбол не играю... Но наши играют, я спрошу... А у вас машина есть?

Он сказал:

- Я, к сожалению, безлошадный. Но у Рашидова машина есть...

Я сказал:

- Дело, конечно, не в этом, но хорошо, чтобы он оказался Ириком...

Он сказал:

- Ириком? Ну, тогда вряд ли... А вы все-таки приходите... У нас тут еще свой магазинчик есть...

Я сказал:

- Да, я слышал. Кое-кто из наших уже побывал...

Он сказал:

- И вы побывайте: метро - серая линия, станция Комиаго... Как раз хорошие куртки завезли, мужские, на меху - "Аляска"...

Я сказал:

- Это интересно...

Он сказал:

- Да... И женские пальто тоже есть... У вас размеры с собой?

Я сказал:

- С собой.

Он сказал:

- Магазинчик у нас - понедельник, среда, пятница, с трех до шести тридцати...

Я спросил:

- А как вас зовут?

Он сказал:

- Володя. А фамилия - Кофейников. От слова "кофе"... Зайдете, кофейку попьем. Меня по этому телефону всегда разыщут.

Я сказал:

- Надеюсь, увидимся.

Он сказал:

- Успеха вам. Хотя Рашидов все-таки вряд ли из вашего класса...

Через пару дней я позвонил Рашидову, и он снял трубку.

- Это Каххар Фаттахович? - спросил я.

Он сказал:

- Да.

Я сказал:

- Здравствуйте. Понимаете, какое дело... Я тут читал ваши корреспонденции, и у меня возникло подозрение, что мы с вами...

Он строго спросил:

- Какое подозрение?..

Я сказал:

- Видите ли, меня зовут Владимир Эммануилович Рецептер...

Господи, как он закричал!..

- Волька, Волька! Это ты?.. Ты где, Волька?

- Ирик, я здесь, я - в Токио! - засмеялся я.

- Давай ко мне сейчас же! - закричал он.

- Ирик, я же не знаю этого городишки!.. Я тут с театром, в гостинице "Сателлит".

- Волька, подожди, я сам к тебе приеду!.. Где этот твой "Сателлит"?

- Район называется Коракуэн, тут метро есть.

- Какое к черту метро, я на машине. В каком ты номере?..

- 636...

- Не выходи никуда!.. Я сейчас приеду!.. Слышишь, Волька?! Я еду...

Теперь вы знаете и мое уменьшительное имя. Оно сохранилось для друзей, домашних и всех, кто знает меня по Ташкенту. В отличие от других Владимиров, свои меня называли не Вовой, Вовчиком или Володькой, а Воликом или Волькой. А Каххара Фаттаховича в классе звали Ириком.

И как только он появился в "Сателлите", всему коллективу стало очевидно, что с Японией Рецептеру не просто повезло, а именно посчастливилось, несмотря на всю сложность международной обстановки. Трудно даже представить, насколько улучшилось мое положение на островах и какие неслыханные возможности у меня появились, не говоря о таких мелочах, как "тойота" и еще одна крыша над головой, потому что Ирик с ходу увез меня на "тойоте" ночевать в свою токийскую квартиру, которую он снимал близко к центру и недалеко от советского посольства.

Ну, разумеется, мы позвонили "нашему", чтобы согласовать

мой отъезд. "Наш", "не отходя от кассы", связался с "посольским". А "посольский" заверил "нашего", что Ирику доверять можно. Тогда, сняв с себя всякую ответственность за Р., "наш" сказал Ирику, что он может его забирать. И Ирик меня забрал, взяв на себя всю ответственность за эту и дальнейшие отлучки и отпадения от родной стаи. Теперь коллективу и всему его руководству, включая парторга Толика, уже ничего не оставалось, как только безмерно за меня радоваться...

Пример подавала Анта Журавлева:

- Володя, Рашидов приехал! - восторженно сообщала она мне и добавляла, он такой милый!..

У Ирика было тонкое аристократическое лицо, и, что бывает на Востоке довольно редко, он изящно грассировал на всех известных ему языках. Он и был настоящим узбекским аристократом, принадлежа к одной из самых влиятельных в Ташкенте семей, и, хотя носил ту же фамилию, не был прямым родственником Первого секретаря Центрального комитета Компартии Узбекистана.

Японский, правда, он знал похуже или совсем не знал, но у него был свой переводчик-секретарь, составлявший обзоры японской прессы, потому что Ирик представлял в Токио одно из самых влиятельных московских изданий.

Но главным оказалось то, что в отпуске, из которого он только что вернулся, Ирик, несмотря на свои общесоюзные и мировые возможности, принял важнейшее и окончательное решение сворачивать свои зарубежные дела и возвращаться на Родину. Может быть, он предчувствовал создание независимой республики Узбекистан? Но именно тогда, в восемьдесят третьем, в Ташкенте для него готовилось рабочее место, завершалось строительство дома в старой, то есть узбекской, части обрусевшего города; там ждать его осталась жена с детьми, и Ирик всем своим существом был больше там, чем здесь. Возможно, принять такое решение ему помогли родственники, а родственники у него были очень сильные. То ли родная сестра Ирика была замужем за очень важным лицом, то ли сам Ирик был женат на родной сестре важного лица, близкого самому Шарафу Рашидову.

Может быть, потому, что на этот, последний период он оказался в Японии в полном одиночестве, к которому не привык, Р. стал для него не просто земляком и одноклассником, но родной душой. Несмотря на тридцатилетнюю разлуку. Или благодаря именно ей. Как будто не было промежутка: окончили школу и тут же встретились в Токио...

А для Р. в условиях трехэтажной дисциплины и четверочного

самонадзирательства Ирик стал не просто гарантом личной свободы, но и прямым доказательством независимости судьбы.

И еще. По какому-то фантастическому совпадению как раз в это время Р., как помнит читатель, тоже затевал большие ташкентские игры, ведя дипломатические переговоры с тамошним министерством культуры и Академическим театром имени Хамзы Хаким-заде Ниязи и Георгием Александровичем Товстоноговым в надежде, что тот разрешит Р. поставить в Ташкенте большой русский спектакль.

Игры начались во время концертной поездки в Ташкент, которую я совершил незадолго до японских гастролей вместе с Аркадием Райкиным. То есть гастролировал в Ташкенте Райкин, а мы с Владиславом Стржельчиком поехали ему помогать. Нет, не так. В Ташкент Аркадий Исаакович поехал без своего театра, и ему нужны были паузы между выступлениями, потому что чувствовал он себя не очень хорошо. И вот в качестве пауз внутри его концерта поехали мы с Владиком. Но это выяснилось позже, а сначала нам сказали, что именно нас очень даже ждут в театре, и в самолете мы со Стржельчиком всю дорогу репетировали "Моцарта и Сальери", сочинение А.С. Пушкина.

А когда мы прилетели и я с утра сбегал в Ташкентский русский драматический театр имени Горького, в котором начинал свою актерскую карьеру, чтобы одолжить там два парика для образного обозначения Моцарта (я) и Сальери (Стржельчик), оказалось, что Ташкент с нетерпением ждет именно Аркадия Райкина, а мы с Владиком должны составить его антураж. За деньги, конечно. Хотя и честь была велика.

Таким образом, трагедия Пушкина "Моцарт и Сальери" вместе с париками, по выражению администратора поездки Рудика Фурмана, оказалась "не в жилу", и в итоге внутри райкинского концерта Владик, передав зрителям привет от Ленинграда, со звоном и пафосом читал другое сочинение А.С. Пушкина вступление к поэме "Медный всадник", потом мы с ним играли сцену Чацкого (я) и Репетилова (Стржельчик), и Владик, вторично появляясь на сцене, великолепно падал, неподражаемо отплевывался: "Тьфу, оплошал!.." - и, обнаружив меня, начинал сцену; а уж потом, в третьей паузе, я, в качестве старого ташкентца и выбившегося в люди земляка, по заказу Аркадия Исааковича читал свои стихи о театре, которые ему чем-то нравились.

Но все это было, повторяю, лишь в промежутках между титаническими монологами Райкина, чтобы дать ему отдышаться, потому что он чувствовал себя не очень хорошо, несмотря на ташкентскую весну и нежаркую погоду.

Райкина принимали как национального героя и первого космонавта одновременно, и весь город сошел от него с ума. Поэтому и нам со Стржельчиком досталась малая толика славы, и мы бывали на всех государственных и частных приемах, включая домашний обед у вечно молодой Тамары Ханум, с осмотром музейной коллекции ее многонациональных костюмов. Как я понял, этот обед со сладким бухарским пловом и десятью переменами блюд носил даже родственный характер, потому что в то далекое время сын Аркадия Исааковича Костя Райкин, если не ошибаюсь, был женат на одной из племянниц или внучек, а может быть, на внучатой племяннице самой Тамары Ханум.

Для молодых и несведущих подскажу, что Тамара Ханум с незапамятных времен была эстрадной звездой всесоюзного масштаба и прославилась, исполняя песни разных народностей в этнографически достоверных национальных костюмах. К моменту нашего визита в Ташкент она была почтенна, как римская матрона, и почитаема, как Великая Октябрьская революция, раскрепостившая восточную женщину вообще и Тамару Ханум в особенности.

Поэтому украдкой и доверительно нам указали на молодого бухарского милиционера в штатском, кажется, в чине сержанта, который был выписан в Ташкент в качестве "бойфренда" для вечно молодой Тамары Ханум. Он был невысокий, пухленький и хотя держался солидно и даже распорядительно, но на глаза не лез...

Так вот, во время этих триумфальных гастролей Райкина сама Тамара Ханум намекнула мне, не пора ли, мол, возвращаться домой, а министр культуры Узбекистана предложила как своему что-нибудь поставить в Академическом театре драмы имени Хамзы.

Поэтому я для Ирика и он для меня значили не только то, что значили сами по себе, и в наши отношения входило не только общее прошлое, но и то, что одному и другому мерещилось в светлом будущем.

Мы были корешками узбекской рассады, заброшенными судьбой на японские острова, чтобы встретиться и помечтать о том, какие новые побеги мы можем пустить там, откуда появились.

- Знаешь, Воль, - сказал Ирик в первый же вечер, - мы с женой решили в самом начале, что в любой загранке будем жить, как дома, и есть тоже, как дома... Моя мать была особенно щепетильна в приготовлении еды: все должно быть натурально и чисто...

Ирик готовил свой любимый steik на сковороде и был

необыкновенно внимателен, подсыпая разные доли разных приправ, следя за процессом по часам и по запаху, потирая руки в предвкушении результата. Японской микроволновке это дело он не передоверял...

- Тут наши живут довольно обособленно, - продолжал он, - на первых порах было совсем тяжело... А тут мы попали на такое посольское собрание, где разбирали семью, которая кормит своих детей консервами...

- Это мне знакомо, - сказал я, - хотя мы, конечно, не дети...

- Вы в загранке от случая к случаю, - прощающе сказал Ирик, - а мы здесь живем. Так вот, эти ребята из Союза завезли несколько ящиков консервов и весь год бомбили бедных детей только ими... Конечно, дети заболели, их пришлось лечить, тут и выяснилось... Это на нас произвело такое жуткое впечатление!..

- А у нас был случай, - сказал я, - когда мы играли в Праге, в "Театре на Виноградах", а наш директор все речи перед чехами заканчивал текстом: "С глубоким славянским поклоном...". При этом он едва кивал головой, так что сам "глубокий славянский поклон" выглядел неубедительно...И вот дело идет к концу, и на последнем банкете один наш актер ему советует: "Геннадий Иванович, скажите так: с глубоким славянским поклоном "Театру на Виноградах" от "Театра на консервах".

- Смешно, - сказал Ирик и принял лекарство.

Я уже знал, что в Пакистане он заработал язву, а в Афганистане - орден.

- Вот мы с тобой в Ташкенте встретимся и там приготовим настоящий ош.

"Ош" по-узбекски значит "еда".

- Что ты принимаешь? - спросил я.

- Гастроинтестинал, - сказал Ирик. - Зачем тебе?

- Помогает? - спросил я.

- Вскрытие покажет, - сказал Ирик. - Вообще-то это хорошее лекарство, не химическое, а натуральное. Китайское. У тебя что, тоже язва?

- У меня - нет, - сказал я, - у отца...

- Язву нельзя долбать химией, - сказал он, - а то она при переменах воды опять открывается... Нет, все, теперь домой... Мне предлагали Англию, предлагали Париж... Хватит... Кстати, у японцев очень хорошие лекарства, имей это в виду... Там, у нас в верхах, любят японские...

- Да? - спросил я. - Какие?

- Гаммалон, ангинин...

- А это от чего? - спросил я.

- От склероза, - сказал Ирик и посмотрел на телефонный

аппарат.

Съев steik, мы пошли гулять по вечернему Токио.

Респектабельные японцы делали зарядку у императорских прудов.

Самое интересное, что все они были страшно похожи на узбеков. Или Гога был прав, и это узбеки походили на японцев?

Однажды я прилетел в Ташкент, и университетский однокашник, окончивший узбекское отделение филфака и работавший в ЦК Компартии Узбекистана, спросил меня, не хочу ли я посмотреть на Ташкент из Старой Крепости. В Старую Крепость, как на военный объект, в мое время было не попасть, а теперь ее снесли и на этом месте воздвигли беломраморное здание ЦК. Я сказал, что хочу. Он заказал мне пропуск, и, поднявшись на третий этаж, я полюбовался на речку Анхор и ее берега с точки зрения Центрального Комитета Компартии Узбекистана.

- А где сидит Рашидов? - спросил я, имея в виду Первого секретаря, писателя и лауреата Государственной премии, автора романа "Сильнее бури" Шарафа Рашидова.

Однокашник, которого звали Адхамом, сказал:

- Рашидов - шестой этаж. Хочешь смотрет? - и, демонстрируя свое могущество, снял трубку. - Михаль Иванович, здрастуте, это Адхам Адхамов говорит... Исдес у нас гостях наш друг Владимир Ресептор, - от внезапного волнения его акцент усилился, - знаете, который универстет Ташкенте кончал, театральный тоже, Гамлета играл, тепер работает Лениграде, у Товстоногова... А, знаете!.. - Адхам радостно кивнул мне и выразительно поднял брови. - Вот, говорит, был бы здорова с шестой этаж СеКа Ташкент увидет!.. Можно это сделат для гостя, с вашево позваления?.. Харашо... Ожидаем... - Адхам прикрыл трубку другой ладонью и послал в мою сторону шепотом: - Это - помощник Рашидова, товарищ Косых Михаль Иванович, он другому телефону спросит охрана, мы с приемной Рашидова будем смотрет вид из окна... Да, да! Михаль Иванович, слушаю... Да... Да-а!.. Да-а-а!.. Счас?.. - Адхам потрясенно положил трубку и с недоверием посмотрел на меня. - Тебя, оказываесся, товарищ Рашидов хочет видет. Идем самому Рашидова...

Такого эффекта от своего лихого звонка Адхам явно не ожидал и всю аудиенцию томился в приемной.

Когда Р. вошел в кабинет Рашидова, тот, сидя за длинным столом для совещаний, цветными карандашами подчеркивал что-то в многостраничном тексте и поздоровался не прежде, чем Р. осознал всю степень его огромной занятости и государственной ответственности. Р. приветствовал его бодрым тоном

неисправимого оптимиста и баловня судьбы.

- Доклад пленуме готовлю, - буднично объяснил Рашидов и показал, где Р. может сесть. С указанного места Р. увидел, как он то красным, то синим карандашом подчеркивает в тексте цифры и цитаты.

- Сечас Нишанов подойдет, секретар по идеологии, - сказал Рашидов и, оторвавшись от своего труда, посмотрел на Р. Очевидно, встреча с представителем искусства должна была по протоколу протекать в присутствии главного партийного идеолога.

- Ну, как жизнь, - запросто спросил Рашидов, - как работа?

Р. не понял, задан ли вопрос по существу или из восточной вежливости, и в ответе был предельно краток.

- Очень хорошо, Шараф Рашидович, спасибо.

И спросил:

- А у вас на литературу время остается?

Этим Р., очевидно, хотел подчеркнуть, что видит в Рашидове прежде всего человека искусства, а уж потом - государственного деятеля. Его романа Р., конечно, не читал, но не станет же он спрашивать о романе... Гнусную лесть Рашидов, видимо, оценил и с глубоким вздохом ответил:

- Сожалению, сожалению...

Р. не стал выражать ему сочувствия и переменил тему:

- Какой у вас вид из окна, Шараф Рашидович! - сказал он.

Рашидов посмотрел в окно, как бы оценивая пейзаж чужим взглядом, и скромно сказал:

- Да... Стараемся... Строим...

И спросил:

- Как вам Ташкент?

Р. сказал:

- Да, Шараф Рашидович, производит сильное впечатление... После землетрясения - другой город...

Тут вошел Нишанов, и Рашидов познакомил нас.

- Слышал, слышал, - сказал Нишанов и покровительственно улыбнулся.

Секретаря по идеологии Нишанова я хорошо знал по рассказам одной балерины из театра имени Алишера Навои, за которой он властно охотился, но которая почему-то отдавала предпочтение мне. Во всяком случае, в тот мой приезд. Но Нишанов не знал, что я о нем знаю, и держался как ни в чем не бывало. "Красивый мужик", - отметил я и подумал, что с балкона нашей общей знакомой, голубоглазой балерины из театра имени Алишера Навои, по странному стечению обстоятельств, как и Рашидов, обитающей на шестом этаже, Ташкент выглядел

намного лучше, чем из широких окон Первого секретаря.

- Все-таки у нас вы не остались, - прервал мои размышления Рашидов. То ли это был упрек, то ли констатация факта.

- Шараф Рашидович, я же не мог работать в театре Хамзы. Я должен был работать в русском театре... И меня позвал к себе самый крупный режиссер страны - Товстоногов, можно ли было такую перспективу отвергать?.. В конце концов, я в его театре представляю все-таки Ташкент. И в Москве, и в Ленинграде знают, откуда я появился.

- Расскажите нам, как работает товарищ Товстоногов? - спросил Рашидов, и в его вопросе Р. послышался оттенок настоящего интереса.

Тут, забыв о времени, Р. увлекся и стал рассказывать, какой это замечательный режиссер, и как творчески применяет он систему Станиславского и его метод действенного анализа, и в каких зарубежных поездках театр побывал, и как много он успел почерпнуть за эти годы. Впрочем, он не забыл добавить, что многому научился именно в Ташкентском театральном институте, где тоже творчески применяют систему Станиславского, и какой это прекрасный институт, не говоря уже о Среднеазиатском университете.

Рашидов слушал внимательно, время от времени переглядывась с Нишановым. Здесь творилась легенда о встрече бывшего ташкентца с самим Шарафом Рашидовым, которую деятели культуры скоро будут передавать из уст в уста. И, выдержав паузу, он сказал:

- И все-таки, когда было землетрясение, вас с нами не было.

Это был уже явный упрек, если не обвинение. Стало быть, из любви к Шарафу Рашидовичу Р. должен был отказаться от ленинградской перспективы и стоически ждать будущего землетрясения.

А если бы он уехал из Ташкента после землетрясения, он поступил бы патриотичней?

- Ну, знаете, Шараф Рашидович, - сказал Р., не затягивая паузы, землетрясение, к несчастью, никто не мог предсказать, не только я, но даже и вы, признайтесь!..

Ответ, видимо, его удовлетворил как признанием высоты его положения, так и констатацией независимости природы, и Рашидов усмехнулся.

- Это вы правильно заметили, - сказал он, глядя на Нишанова, и, подумав еще, диктующим тоном начал формулировать:

- Если кто-нибудь будет вас упрекат, вы никого не слушайте. Ты - наш. Мы считаем тебя нашим полномочным представителем Ленинграде. Недаром вы бываете Ташкенте, не забываете нас.

Приезжайте еще, что-нибудь сделайте для нас. Мы будем вам помогат, - и, посмотрев на Нишанова, закончил: - Передайте от нас привет товарищу Товстоногову.

Нишанов, с видом глубокого удовлетворения, кивал в такт словам Первого секретаря. Решение, как всегда, было мудрым, политически глубоким и единственно верным.

Когда Р. вышел в приемную, Адхам Адхамов, сняв с запястья часы и вытянув руку вперед, держал их перед глазами на ладони. Глуховатым и полным значения голосом, не отрывая взгляда от стрелок, он зафиксировал:

- Сорок восим.

Затем он глубоко заглянул Р. в глаза и, снова сверившись с часами, повторил:

- Сорок восим минут ты был у товарища Рашидова.

И, обернувшись к помощнику и показывая ему свои часы, в третий раз потрясенно повторил неслыханную цифру:

- Сорок!.. Восим!.. Минут!..

17

Думаю, это случилось ближе к отъезду в Осаку, скорее всего в начале буднего дня, когда цеха, руководство и актеры, позавтракав за счет фирмы, рванулись из "Сателлита" по своим сугубым делам, а бдительность дежурных энтузиастов в гостинице явно притупилась. Его расчет оказался по-военному точен.

Не знаю, встречал ли он ее внизу или она сама поднялась на шестой этаж и постучалась в игрушечный номер, знаю одно: чайная церемония держалась в секрете. И то верно: зачем гусей дразнить?..

От взаимной вежливости и полного смущения можно было с ума сойти, а гортанный клекот закипающей в кружке воды, звяканье чашек в тесноте, тихие вздохи и случайные касанья, не глядя, - все сливалось в необыкновенную и новую музыку, которую создавал невидимый дирижер.

Пауз выходило больше, чем реплик, потому что единственное, чего хотелось, это побыть наедине, и, не доверяя до конца ни себе, ни гостье, он все-таки решился...

Печенье было ленинградское и сахар тоже...

Вздор! Вздор!..

Вовсе он не раздевал ее, вовсе не разглядывал и не разглаживал с нежностью тоненькой шеи, смуглых плеч, покатых шафранных грудок с раскосыми сосками, а тем более всю ее ладную восточную плоть!.. Нет и нет!.. И узкие бедра, и глубокий зрачок прячущегося пупка, и прохладные гладкоствольные ножки с упругими ступнями, и тишайший ласковый кустик, укрывающий плотное лоно - все это японское счастье и чудо всего лишь тайно воображалось ему!..

Лишь изредка он решался коротко взглянуть на ее гладкую черную головку, на чистый лоб, а еще реже в сияющие черные глаза. Ему хотелось сказать "Дорогая, дорогая" и услышать в ответ что-то незнакомое, утешительное и хоть на миг спасающее от привычного одиночества, но он только молчал и улыбался. Слишком она была чиста и недоступна в свои восемнадцать, а он - слишком осторожен и мудр в свои пятьдесят семь, чтобы решиться на что-то большее, чем чайная церемония в отеле...

- Благодарю, благодарю вас, сенсей! - говорила она, кланяясь ему, и эти ее сложенные перед грудью ладошки и привычные короткие грациозные поклоны просто восхищали его.

И все-таки, все же...

Чем церемоннее был чайный дуэт, тем неслучайней и

бесцеремоннее росло в них обоих простое и ясное желание. Несмотря на большую разницу в возрасте. А может быть, именно благодаря ей.

Страсть и нежность - вот что чувствовал он, я знаю...

А она испытывала трепет и жажду...

Семен Ефимович Розенцвейг пил чай с печеньем и задыхался, а юная Иосико так и не сделала ни глотка...

Он уже любил ее, молча и безнадежно, и, кажется, навсегда, словно от имени всего своего древнего и исстрадавшегося народа, не дающего прав своим мужчинам ронять семя в чуждое лоно. И так же молча она откликалась ему, чувствуя за спиной дыхание другого, не менее древнего мира, который налагал на нее свои запреты.

"Будьте благословенны и обнимите друг друга!" - сказал бы я им, если бы знал о тайном свиданье, но я еще ничего не знал, а они не могли догадаться, что с чайными чашками в руках уже перешли границу моих авторских владений.

Вздор, вздор, что удавшиеся герои ведут себя своевольно и вопреки родительским желаниям!.. Это автор, достигнув высшей степени любви, разрешает им делать что угодно! И, почуяв негласное разрешение, они, как японские дети, принимаются расти без отказов и наказаний. А все их ослушанья, и уходы, и вольная жизнь вне отцовских пределов чреваты болью и знаньем, и запоздалым раскаяньем, и скорбным возвращением блудных скитальцев к родительским стопам...

Моя вина, что не успел вмешаться, и вместо любой другой безделушки она подарила ему часы. Откуда ей было узнать, как не от меня, о том, что счастливые часов не наблюдают?..

Иосико подарила Семену часы, на которые он стал смотреть все время, и Большой драматический театр прослышал об этом подарке...

А когда Семен Ефимович, стесняясь, представил однажды артиста Р. своей Иосико, тот, недолго думая, разразился легкомысленным монологом о Розенцвейге, какой, мол, это замечательный человек, и великий композитор, и какой, не в пример другим, воин и мужчина!..

- Приезжайте в Ленинград, Иосико, - пел артист, не зная, как глубоко вбирает юная японка эти слова, - мы покажем вам спектакли Достоевского и Блока, вы услышите музыку Розенцвейга и увидите небо в алмазах!..

В "Ревизоре" рольку, или, скорее, эпизод, Степана Ивановича Коробкина, "отставного чиновника" и "почетного гражданина в городе" должен был сыграть Юра Демич. Именно это назначение и позволило включить его в список едущих, так как ни в одной из

четырех классических пьес Юра занят не был. И вот, в порядке поощрения за заслуги в современном репертуаре, ему дали роль Коробкина и взяли на японские острова.

Но Юра начал пить еще в самолете, продолжил в поезде, развернулся на теплоходе "Хабаровск", а в Японии его сначала вообще не было видно. Чтобы отыскать Демича, завтруппой Оля Марлатова звонила завкостюмерной Тане Рудановой, потому что Таня и Андрюша Толубеев, сойдясь с Юрой "на почве консервов" - их "дортуары" в "Сателлите" шли подряд, - по-товарищески старались его как-то прикрыть. Кстати, они же первыми нашли и навели остальных на токийский магазин русской книги, и эту их безусловную заслугу я просил бы читателя отметить...

Какие у Демича были внутренние причины для питья, судить не берусь, но перед репетицией "Ревизора" в театре "Кокурицу Гокидзё" он в голубых тапочках заходил за ширму и, чтобы снять стресс, глотал валерьянку. Но валерьянка не помогла: к роли покойного Миши Иванова Юра отнесся халатно, к вводу был не готов, так что Коробкина у него тут же отняли и отдали Валере Караваеву, тому самому артисту, который вместо меня заменил заболевшего Гришу Гая в спектакле "Амадей".

Разумеется, здесь не было его капризного умысла, все вышло как-то само собой. И Юра, конечно, смутился: во имя Коробкина был проделан неблизкий путь до самого Хондо, но, если не ошибаюсь, за сорок дней исторических гастролей по Японии он на сцену так и не вышел, а если ошибаюсь, то вышел, но без имени и без слов.

Легко представить, как обиделся и рассердился Гога...

Еще в Ленинграде директор Суханов, стоя рядом с Товстоноговым, бросил мне реплику:

- Что, "пристегнули" вас к Демичу?

Я переспросил:

- К Демичу?..

- Разве вам не сказали?..

- Нет... Или я прозевал...

- Скажут, - успокоил меня директор.

Гога мгновенно отреагировал:

- Слава Богу, что не меня... Если бы меня к нему "пристегнули", я бы испортил все отношения.

Смысл реплики, в общем, понятен и, если подумать, не обиден: отношения все-таки хороши, но их не хотят подвергать лишнему испытанию.

Однако тут как на грех Юра "загудел" и подвел Гогу, не говоря уже о покойном Мише Иванове и гоголевском Степане Коробкине.

Родился Юра на Колыме, где с тридцать седьмого по пятьдесят седьмой год отбывал свой срок его отец, прекрасный актер Александр Иванович Демич. По доносу артиста-парторга, имени которого я не знаю, Александра Ивановича взяли в Москве прямо из Ермоловского театра, и первые восемь лет в магаданских рудниках он видел одно черное небо. Однажды был почти мертв и оказался в мертвецкой, но очнулся, выполз и выжил, а позже попал в лагерь, где отбывала свой срок артистка Урусова из того же Ермоловского. Урусова оказалась здесь потому, что отказалась подписать донос того же парторга на того же Александра Ивановича Демича.

Из лагеря его стали привозить и приводить под конвоем в магаданский театр, где он играл главные роли, а знаменитый впоследствии Георгий Жженов был всего лишь "на выходах", а потом Демич-старший стал приходить на работу уже без конвоя.

Даже в шестьдесят лет Александр Иванович был необыкновенно силен и спортивен, легко делал сальто и был способен выстоять в любой драке. Известен случай, когда на него напали трое хулиганов, и Демич, как говорится, с пол-удара положил двоих, а третий убежал с криком: "Это я, Александр Иваныч, простите, не узнал!". После освобождения его снова звали в Москву, в театр имени Ермоловой, но Демич-старший отказался, потому что там все еще процветал упомянутый артист-парторг: Александр Иванович побоялся, что может его убить. Поэтому из Магадана он уехал сначала в Казань, а потом - в Самару, где Юра окончил студию при театре и сыграл свои первые роли. Туда, смотреть его Гамлета, Товстоногов откомандировал Дину Шварц.

Демич-младший легко вписался в труппу, но был нетерпелив, нервен и, видимо, донимал Мэтра открытыми требованиями. Однажды он в сердцах швырнул заявление об уходе, но после драматической сцены в кабинете Мастера, где, по словам Дины, Юра плакал, а Гога дрогнул и пообещал ему повышение зарплаты и звание, Демич-младший заявление забрал.

В тот момент артист Р. поставил себе в пример поведение артиста Д.: "Вот как надо биться за свое положение!". Но себя не переделаешь, и в трудных случаях Р. по-прежнему замыкался в себе и отдалялся от Гоги.

Что касается Юры, то иногда казалось, что ему просто нравится роль бесшабашного гуляки или беспутного гения, навеянная, может быть, отчасти образом любимого отца, отчасти рассказами о Паше Луспекаеве, хотя все, кто знал самого Пашу, эту роль оставляли за ним одним и ни в какие сравнения не входили.

У Юры Демича, судя по репликам той же Дины, были какие-то сильные покровители в Москве. Они и помогли ему переехать в столицу, когда на спектакле "Амадей", где Стржельчик играл Сальери, а Демич - Моцарта, разразился скандал и отношения с Гогой стали невосстановимы.

Оглядываясь на короткие и малозначащие разговоры с Юрой, на его роли и романы, возникавшие на наших глазах, я думаю не о грехе пьянства и женолюбия, а о какой-то внутренней трагедии, которой он не мог поделиться ни с кем.

Кроме Гамлета и Моцарта (Д. сыграл у Шеффера, а Р. - у Пушкина) позже возникло еще одно приближающее обстоятельство. Отец Юры, Александр Иванович, переехавший вслед за сыном из Самары в Ленинград, поменяв трехкомнатную квартиру на Волжской набережной на питерскую коммуналку, был похоронен на театральном участке Северного кладбища в Парголово в ближайшем соседстве с общим участком, где упокоились отец и мать артиста Р., тоже в свое время переехавшие в Питер вслед за своим сыном.

Утром того дня, когда должна была состояться токийская премьера "Ревизора", мы шли по какой-то скромной улице, и Владик Стржельчик рассказывал о приеме у посла, на котором были четверо: Гога, Кирилл, Лебедев и он. Стриж снова был не в духе, его возмущало и то, что похожий на японца Павлов не знал, на сколько дней мы приехали, и то, какую выпивку на приеме давали, и как подавалась эта выпивка, а особенно то, что четырех сувенирных ручек не хватило на четверых, и послу пришлось во второй раз посылать за ручками, после чего хватило уже на каждого.

Рассказы Владика о любой чепухе всегда были очень эмоциональны и зажигательны, потому что он был прирожденным артистом и должен был играть, играть, а "Амадея" не привезли, и за все сорок дней на островах у него были только "Мещане", два или три спектакля, черт знает что!.. Вот он и проигрывал в сердцах любую японскую ситуацию.

Навстречу нам показалась веселая процессия пожилых японцев, над которыми реял национальный флаг: желтый кружок - восходящее солнце. Люди шли посреди улицы, таща на плечах нарядную пагодку, и радовались жизни. Старушки в скромных кимоно с наслаждением били в бубны; старик наяривал на каких-то клавикордах, висящих у него на шее и вовсе не похожих на аккордеон; в такт веселым шагам он еще посвистывал в сладкоструйный свисток. В толпе гремели погремушки, нежничали флейты, а большой барабан был украшен красными цветами и скрывал маленького барабанщика.

Среди шествия, на которое мы смотрели как на спектакль, кружилось несколько актеров-мужчин, отдавшихся женскому танцу, и благодарные зрительницы, подбегая, совали им деньги - за пояс или за пазуху. Один из удачников, видимо для примера, показывал нам две толстые пачки по сто иен.

Шествие смахивало на узбекскую свадьбу, с карнаем, зурнами и дарением денег, только молодых не было заметно, и, наверное, поэтому никто из нас даже не подумал совать свои иены за японские пазухи...

А когда веселое шествие миновало, наша компания - Стриж, Волков и мы с Розенцвейгом - оказались у старинного буддийского храма, в котором готовились похороны.

Приняв нас за американцев, один из "белых воротничков" объяснил по-английски, что хоронят человека дворянского звания, который всю жизнь прослужил в крупной туристической компании, и вот, снискав заслуженное уважение сослуживцев и родственников, скончался, завещав часть денег своему храму...

У входа в дом Будды цветы и зеленые камни составляли печальную икебану, в центре которой бил родник с "народной водой". Это значило, что вода - общая, и за нее не нужно платить. И мы попили "народной воды" из медных черпачков с длинными ручками. Когда много ходишь пешком, хочется пить.

Сцену чтения хлестаковского письма Товстоногов посвятил памяти Мейерхольда. Он сам об этом не раз говорил и решал ее отчасти как цитату из знаменитого мейерхольдовского "Ревизора". И костюмы шились по эскизам Мстислава Добужинского, сделанным для спектакля погибшего Мастера. Но прежде чем продолжить мейерхольдовскую тему, позволю себе небольшое костюмное отступление.

Читатель, никогда не бывший за кулисами и ни разу не вдыхавший сладковатый нафталиново-пыльный запашок большого театрального гардероба, должен простить автора за скромное разъяснение, относящееся к производству спектакля и платяной психологии. Каждый висящий на распялке костюм, независимо от степени изношенности, вместе с именем своего создателя - художника приобретает еще одно и, может быть, главное имя - носителя, то есть артиста, с коего снимали мерку, коего два, а то и три раза отправляли в мастерскую подгонять, подрубать и приталивать, коего, наконец, торжественно облачали и вместе с костюмом выводили на специальный просмотр накануне генеральных репетиций и мероприятий с начальством и публикой.

Поэтому зеленый фрачный мундир со вставкой песочного цвета на груди и оттопыренными проволокой фалдами, в котором

его носитель отчасти напоминал кузнечика, должен по праву и до конца своих дней называться костюмом Добужинского-Лёскина. А в связи с тем, что к моменту японских гастролей артист Боря Лёскин успел эмигрировать в Америку, мундир по нем тосковал и ждал несбыточной встречи.

Это люди думали, кого бы внедрить в зеленый фрачный мундир с песочною вставкою, а сам он до последней петли и пуговицы хранил собачью верность отчаянному хозяину, мыкающему первое горе в равнодушных Штатах...

Костюм Коробкина, сшитый на покойного Мишу Иванова, Юре Демичу в сотрудничестве отказал. Он никак не предвидел в своем дорогом носителе ни укрепления грудных мышц, ни расширения бедер, ни горделивого вытягивания вверх, и потому, категорически протестуя против Демича, был вынужден в тоске отойти к другому невольнику. Демич же обязывался на японских островах исполнить роль Коробкина как раз в характерном фрачном мундире Добужинского-Лёскина, который был нами представлен выше и хотя бы по своим внешним параметрам Юру принимал. И автор не исключает того, что, помимо субъективных моментов, относящихся лично к Юре Демичу, сама судьба противилась тому, чтобы ивановский Коробкин и коробкинский текст исходили изнутри того костюма, в котором артист Лёскин был призван не говорить, а молчать...

Нетрудно также вообразить, какие муки испытывал костюм Хлестакова, сшитый на Олега Борисова, когда его хозяин оказался отставленным от роли, а играющий костюм Басилашвили от долгого употребления поизносился. Тогда борисовский костюм стали натягивать на другого Олега, и сюртуки пришлось пороть по швам, выпускать, надтачивать, а главное, заставлять делать вид, что так и нужно и все хорошо...

То же самое ужасное чувство, только чуть раньше, одолевало кожаный костюм принца Гарри, сшитый на Рецептера.

- Вам очень идет этот костюм, - сказал Товстоногов на просмотре, а после генеральной репетиции эту близость прекратил. И когда Олег Борисов замусолил и обтрепал свой кожаный колет и сапоги, тут-то и вспомнили о свежем наряде Рецептера, разлученного с ролью, и стали его как второй ладить на Олега: обузили, обкорнали и так далее, и тому прочее, вообразите себе такую трагикомедию...

Иное дело, если хозяин сам берет свой костюм из спектакля в спектакль.

Вот Сережа Юрский затеял вывести в "Ревизоре" Осипа в том же сюртуке, который он надевал как Чацкий. Не берусь судить, испытал ли смущение носитель, но "чацкому" сюртуку, особенно в

первое время, было очень даже неловко...

А тот, второй сюртук, который был шит на Чацкого-Рецептера, кажется, по рукам не пошел и, по словам Татьяны Рудановой, вон там, в третьем ряду, так и висит с вышитым на подкладке цветною ниткою первым слогом смешного имени: "Рец.".

Но, может быть, самые мучительные испытания прошел черный сюртук князя Мышкина, который был заказан при возобновлении "Идиота" по мерке самого Смоктуновского, потому что, полюбив богоугодного Иннокентия, он всегда маялся, попадая на чужие плечи - то к Юрскому в "Беспокойную старость", то к Волкову в "Третью стражу", то к Ивченке в "Смерть Тарелкина"...

Впрочем, есть у нас и последний, потрясающий душу пример. Несказанные, танталовы, адовы муки пришлись на долю ревнивого сюртука из "Варваров", который вместе с Владиславом Стржельчиком покорял публику ролью аристократа Цыганова, а когда "Варвары", с отъездом Дорониной в Москву, сошли, был привлечен Стржельчиком на сенаторскую роль в "Правду, ничего, кроме правды". И только ближайшие соседи по вешалке могут рассказать, что сделалось со славным Славиным сюртуком, когда его разжаловали выручать Кирилла Лаврова в плебейской роли доктора Астрова...

Мейерхольда Гога, по-моему, просто обожал и со студенческих лет видел в нем своего кумира. Он по многу раз смотрел мейерхольдовские спектакли, а однажды случайно проник в театр Красной армии, где высшее авиационное начальство, впоследствии погубленное так же, как его любимый Мастер, обсуждало спектакли Всеволода Эмильевича.

Обсуждение, как запомнилось Гоге, происходило в тот самый день, когда вышла "Правда" с разгромной статьей "Сумбур вместо музыки", где упоминалась также и греховная "мейерхольдовщина". Это было началом смертельной атаки, но ни Мейерхольд, ни Гога этого еще не знали, и очкастый, худой и носатый студент с Трифоновки в присутствии множества вояк со шпалами и ромбами в петлицах и самого обсуждаемого выступил с существенным замечанием в его защиту.

Гогино замечание заключалось в том, что следует различать мейерхольдовщину без кавычек, как революционное направление в искусстве современной режиссуры, и "мейерхольдовщину" в кавычках, то есть извращение его уроков, пустое эпигонство и бездарное подражание Мастеру.

И когда обсуждение закончилось, Всеволод Эмильевич обратил внимание на умного студента и, пожав ему руку, сказал

несколько благодарных и одобрительных слов. Кажется, он даже задал Гоге вопрос о его педагогах и о том, что он сейчас делает...

Во второй и последний раз они встретились в ВТО, и в малой коричневой тетради автора со слов Гоги записана прозвучавшая при этой встрече реплика:

- Как ваше "Горе от ума"?

Но как ни понуждал бедный автор беспамятного артиста Р., тот, хоть убей, не мог вспомнить - Товстоногов ли это спрашивал у Мейерхольда или Мейерхольд у Товстоногова. И поскольку оба они, хотя и в разное время, ставили великую комедию Грибоедова, то читатель имеет возможность по своему усмотрению отдать эту реплику любому из них.

Если бы не страшные гонения, которым подвергся Мейерхольд, и не ужасная гибель его и отца Товстоногова в роковые тридцатые годы, наверное, Гога проявлял бы свое восхищение более уверенно и откровенно. Но жаба всеобщего страха и официальный курс советского театра со всеобщим равнением на гибнущий МХАТ и систему К.С. Станиславского внесли свои коррективы в становление нашего Гоги, и, как случается в истории искусства, от сочетания двух несовместимостей возник "парадокс Товстоногова", который позволил ему избежать крайностей и совместить уроки мхатовской правдивости с мейерхольдовским чувством сценической формы.

Помреж толкнул меня на сцену театра "Кокурицу Гокидзё": и Бессловесный вошел в дом Сквозник-Дмухановского.

Тут артист Р. и дал волю всему идиотизму, на который он был способен, и опять оказалось, что в этом плане он способен на многое.

Господин Бессловесный выходил прекрасным человеком и, конечно, понимал, что достоин счастья не меньше, чем любой из собравшихся, включая и самого Антона Антоновича. Он понимал, что при нынешнем раскладе с таким умом и почерком мог бы занять любую государственную должность, прежде всего почтмейстера; но нет, нет, он выше служебной ревности, и пусть все останутся при своем, растут в чинах и будут счастливы!.. И даже если его не разглядят и не оценят в родном городке, Бог справедлив и видит, что дворянин Бессловесный, хоть и беден, но честен, и любит свой народ, и готов ему послужить, даже не имея чина и звания.

О, господин Бессловесный был патриот и торжествовал вместе с семьей городничего. Боже и Господи сил, какого светлого будущего ждал он для всей России, как возносился в мечтах!.. А по причине врожденного женолюбия, - разве оно

помеха патриотизму? нет и еще раз нет! - как обжигал он страстными глазами обнаженные плечи собравшихся дам!..

И съесть, и выпить он был готов, если бы дали, так ведь не дали. И пусть, пусть, не в этом счастье, он все равно, все равно...

- Уважаемые господа! - молча кричал он. - Не могу передать вам, какое это счастие быть дураком и знать свое дурацкое место! Какая всеобщая любовь и общественное признание станут изливаться на вас со всех сторон от благодарных современников, как только вы проявите себя действительным дураком! В сияющем нимбе вашей дурацкой светлости им покажется, что каждый из них поумней, а значит, и одаренней от Господа Бога, и в их душах настанет мир и покой, потому что они достойнее... Какое же это благодеяние - показать счастливыми окружающих вас!.. Братья мои по разуму, светлейшие дураки! Будьте такими, как есть, не верьте случайностям лестных предложений, откажитесь от карьеры, которая погубит ваше здоровье и репутацию, будьте здесь, со мной, в самой близости к русской земле и великому народу, беззлобно наблюдающему за дурацкими перемещениями должностных лиц!.. Я люблю вас, люблю, как самого себя, и, глядя в японское зеркало, не могу наглядеться на эту дурацкую физиономию!..

Нет, никто кроме коллеги-артиста не поймет этого восторга, а за ним и самого вдохновения, переселяющего тебя в другое время, новое пространство и не известное прежде лицо, которое вдруг - ни от чего - почему-то знаешь, слушаешь и пестуешь как самого себя!..

Тут и случается под чужими колосниками известная странность, и наверху, в черном небе, сдвигается крышка, и дырявится крыша, и едет незнамо куда, и столп верхнего света упирается в твое темя, и тело теплеет, и, сам не свой под живой ладонью Господа, становишься честным проводником диктующей воли.

О, тогда все равно, все равно, принц ли Гамлет снова является в мир, или Ванька-дурак Хлестаков, или господин Бессловесный собственною персоною!..

Так что учтите, учтите, читатель, что весь наш скарб, гардероб, реквизит, все раны плоти и самолюбия, пустые надежды, праздная болтовня и пакеты с консервными банками, весь домашний сор и гастрольный мусор, и трижды проклятый быт столько раз бывали опровергнуты, сколько раз выходил на сцену вдохновляемый ролью артист...

Бывает, бывает, знаете...

Особенно в виду Фудзиямы...

18

Виталий Константинович Иллич, в костюме которого на японских островах сама судьба и лично Г.А. Товстоногов обязали меня выходить безымянным гостем в "Ревизоре", был не только умен, но и красив, и хорошо сложен, отчего наши женщины между собой называли его "Марчелло", сравнивая с самим Мастрояни. По манере поведения Иллич казался человеком флегматичным и даже степенным. На самом же деле в нем жил скрытый темперамент и, что особенно важно, притаенный и проявляющийся на полном покое юмор.

Как-то, еще до прихода в БДТ Г.А. Товстоногова, в театре готовили постановку пьесы И. Прута "Тихий океан" о суровой службе советских подводников, терпящих бедствие на дне океана. Офицеров подлодки играли Стржельчик, Иванов, Иллич, а ставил спектакль режиссер Альтус.

Поскольку в лодке кончался кислород, артистам, и прежде всего Виталию Илличу, казалось естественным играть некую заторможенность людей, испытывающих кислородное голодание. Но темперамент режиссера перехлестывал вялое течение подводного действия. Он взбежал на сцену и стал вдохновенно показывать всем, и прежде всего Виталию Илличу, как именно следует играть.

- Вот так, - приговаривал режиссер Альтус, увлекая исполнителей личным примером, - так... и так!.. Понял, Виталий?.. Ты должен сделать это так!..

На что Иллич, сводя на нет творческие усилия постановщика, совершенно невозмутимо ответил:

- Можно так, а можно и иначе.

- Только так! - не помня себя от ярости, на весь театр закричал обиженный режиссер...

Я понимаю, что выражение "можно так, а можно и иначе" совершенно банально и представляет собой общее место, но именно в театре, при неизбежной диктатуре режиссера, оно приобретает чуть ли не бунтарский смысл. Видимо, поэтому реплика Иллича сделалась крылатой и стала передаваться из уст в уста, и даже из поколения в поколение. Если актеры хотели заявить о своем несогласии с режиссерским решением или подвергали его сомнению, они повторяли репризу. И в разговорах между собою пользовались ею как своеобразным паролем. Стоило раздумчиво и несколько флегматично произнести: "Можно так, а можно и иначе", и казавшаяся сложной ситуация парадоксально упрощалась. Часто, демонстрируя свое свободомыслие и

независимость суждений, большедрамовцы, как заговорщики, намекали друг другу:

- Можно так, а можно и иначе.

Наследуя традиции актерского цеха, и Р. не раз пользовался "парадоксом Иллича". В конце концов, он учил широте художественных воззрений, звал к мирному сосуществованию враждующих театральных систем, наконец, наводил на мысль о будущем театральном рае, в котором никто никого не угнетает, не топчет и не ест...

Однажды, во время гастролей в Нижнем Новгороде, в то время еще Горьком, Иллича поселили в гостинице рядом с Ниной Алексеевной Ольхиной, неувядающей красавицей и неизменной героиней Больдрамта. Те, кто хоть раз видел Ольхину на сцене или смотрел фильмы-спектакли с ее участием, например, "Разлом" или "Лису и виноград", не могли не обратить внимания на ее роскошный, сильный, с потрясающими низами и волшебными фиоритурами голос и дивную классически театральную манеру придавать любой фразе романтическую приподнятость и выразительную звучность. Такие голоса знатоки по праву называют "орган". И этим своим органным голосом Нина Ольхина часто разговаривала по телефону с оставшимся в Ленинграде мужем, человеком образцового терпения и кротости.

- Витюня! Ты не можешь себе представить, - выпевала она, - какой здесь вид из окна! Я говорю с тобой и смотрю прямо на Волгу, ты представляешь!.. А какая стоит погода, Витюня!.. Боже мой!.. Как жаль, что тебя нет с нами!..

Поскольку Виктор Зиновьевич находился действительно далеко от города Горького, Нина Алексеевна все повышала свое божественное контральто, передавая художественные впечатления так, что вместе с дорогим ленинградским абонентом ее слышала и вся гостиница "Волга".

- Витюня! Милый! Ах!.. Какое красивое лето! И - представь - начинается нижегородская ярмарка! Может быть, ты все-таки приедешь к нам, Витюня?

Не выдержав оркестровой сцены, Иллич постучался к Ольхиной и сказал:

- Нина, подумай, стоит ли так надрываться, когда можно и по телефону поговорить?..

И эта фраза, несколько видоизменившись, тоже стала крылатой: "Стоит ли надрываться, - говорили мы друг другу, - когда можно и по телефону поговорить?".

Иллич был учеником знаменитого худрука Александринки Л. Вивьена и еще до войны заслужил одобрение старших коллег, сыграв в дипломном спектакле роль Егора Булычева. По

окончании института он был принят в труппу своего учителя, получил броневую отсрочку и вместе с александринцами отбыл по эвакуации в Новосибирск.

Когда театр вернулся в Ленинград, Н.С. Рашевская, руководившая в то время Большим драматическим, пригласила Иллича к себе на солидное положение и роли социальных героев. Его внешнее спокойствие, отсутствие суетной экспансивности и философская уверенность в своей правоте соответствовали, по-видимому, тогдашним представлениям о положительном герое. Иллич успел сыграть Синцова во "Врагах" и Власа в "Дачниках" Горького, когда художественным руководителем в БДТ пришел Гога.

Событие это сильно и глубоко повлияло на множество судеб, но здесь мы ограничимся лишь общими обстоятельствами.

Как острили тогдашние шутники, Большой драматический театр был награжден сразу "двумя Георгиями", потому что вместе с Георгием Товстоноговым назначили и нового директора, которого звали Георгий Коркин. Конечно, он не снискал такой славы, как Гога, но хорошо запомнился многим старожилам.

В каноническую легенду "прихода" непременно включают две реплики: первого секретаря Ленинградского обкома партии Фрола Козлова в адрес Товстоногова:

- Возьмешь БДТ - я тебя в городе главным дирижером сделаю.

И самого Гоги в адрес общего собрания коллектива, сумевшего проглотить не одного худрука:

- Имейте в виду: я - несъедобен!

Свое заявление новый худрук немедленно подкрепил увольнением группы из тринадцати объявленных ненужными артистов, один из которых тут же наложил на себя руки. Разумеется, приказы издавал другой Георгий, директор, но это не меняло сути дела.

Возникшая из множества слухов и свидетельств легенда варьирует число уволенных - "двадцать восемь", "тридцать четыре" и т.д., - доводя нас до цифр гипертрофированных и даже патологических, превышающих самое штатное расписание театра, и удваивая количество самоубийств. Однако автору оказывается совершенно довольно числа, наименьшего из названных, которое известно как чертова дюжина, и имени того отчаянного, который покончил с собой, узнав о своем увольнении. По странному стечению обстоятельств и его тоже звали Георгием, а фамилия его была - Петровский...

Попав на гражданскую войну пятнадцати лет от роду, случайно или добровольно, Георгий Петровский успел послужить писарем в каком-то белом штабе, о чем неукоснительно сообщал

во всех своих советских анкетах.

Говорят, Георгий Павлович был артист суховатый, а человек милый и отличался такой приверженностью к искусству грима, что в конце концов стал преподавать этот предмет в студии Больдрамта.

Коллеги замечали, что он всегда приходил задолго до них и, устроившись перед зеркалом, с помощью париков, наклеек и краски старался изменить свое лицо, добиваясь при этом полной неузнаваемости.

Об этой странной манере лучше и проще других сказал в сердцах шекспировский Гамлет в переводе Бориса Пастернака: "Бог дал вам одно лицо, а вам надо непременно завести другое...". Правда, это относилось к Офелии и мотивы для изменения лица у Петровского были, очевидно, иные, чем у бедной дочери Полония, но это не отменяет странного сходства...

С одной стороны, человек пишет о себе опасную правду в анкете, а с другой - пытается скрыться и стать кем-то другим...

Когда Петровскому сообщили об увольнении, он, придя домой, попытался зарезаться, и ему как-то удалось перерезать собственную глотку, но неудача преследовала его, и, по первому разу, врачи успели Георгия Павловича спасти... И уж после ненужного спасения он подготовил как следует веревку и повесился наверняка.

Ужас, испытанный оставшимися в труппе, коснулся самых именитых и даже неприкасаемых, что уж говорить об артистах среднего положения или скромниках второй категории.

Не знаю, повлияла ли воспитательная атмосфера страха на актерские возможности Виталия Иллича или он был понижен в ранге априорно, но положение его изменилось, и он не стал бороться за прежние права. Может быть, именно эта его нерасположенность к борьбе и молчаливая терпеливость повлияли на установление между ним и Товстоноговым приязненных отношений. Помог и случай, безусловно, заслуживающий того, чтобы отразиться в нашей летописи.

Он произошел на репетиции "Гибели эскадры" Корнейчука, которую Гога прежде ставил в театре Ленинского комсомола, а к очередной революционной дате решил возобновить в БДТ.

В знаменитой сцене прощания с кораблем Виталий Иллич играл черноморца, уносящего с собой клетку с канарейкой.

Мастер построил сцену так, что каждый из уходящих получил сольный выход из центрального трюма и чуть ли не минуту сценического времени лицом к залу, чтобы зритель видел одно за другим десять, а то и больше одинаково молчаливых и трагических, но по-человечески разных прощаний с родным

домом, каким для каждого моряка является его корабль.

Сцена шла без слов, под звуки торжественного марша "Прощание славянки" в исполнении живого оркестра духовых инструментов.

Не знаю, что еще, кроме мощного дарования Георгия Товстоногова, подвигло всех участников так сильно и глубоко играть сцену и какие чувства теснили их души в кульминационный момент последнего расставания, но допускаю условно, что перед глазами Виталия Иллича, например, могли возникнуть и те тринадцать прощаний, которые у него на глазах пережили его товарищи, навеки покидая свой театр по приказу нового капитана. Каждого из них он хорошо знал и мог глубоко понять, потому что театр для артиста, как корабль для моряка, - родной дом...

Истории советского драматического искусства эти безымянные неинтересны, в отличие от славной когорты товстоноговского театра, но, воспитанные русской литературой с ее классическим вниманием к маленькому человеку, мы на мгновение склоним головы перед их братской могилой...

Итак, во время одной из репетиций "Гибели эскадры" в театре присутствовал и проводил свою тотальную проверку М.О. Фурай, известный во всех театрах и концертных организациях инспектор обкома профсоюзов по охране труда и технике безопасности. Маленького роста, лысовато-седой или, скорее, седовато-лысый носатый человечек с тихим голосом и скромными манерами, Михаил Осипович, и сам ставший вскоре одной из городских театральных легенд, умел навести панику на всех, чью работу он проверял, потому что, стоя на страже трудящегося человека, он никогда взяток не брал и предлагаемую водку не пил...

Я не знаю, как это могло случиться, но матрос, выходящий из люка непосредственно перед Илличем, неся на плече тяжелый станковый пулемет "максим", не то от полноты чувств, не то с бодуна уронил этот самый "максим" прямо на голову Виталию...

Номер вполне мог стать смертельным, и Виталий действительно на миг потерял сознание, но все же опомнился и, белый, как полотно, самоотверженно довел до конца эпизод с канарейкой.

Михаил Осипович Фурай насторожился и по горячим следам стал проводить служебное расследование, надеясь найти виноватых. Но допрошенный с пристрастием Виталий Константинович Иллич сумел убедить его, что ничуть не пострадал, хотя его заявления не соответствовали правде жизни...

Товстоногов оценил этот поступок как проявление подлинного театрального патриотизма и актерского мужества и

стал еще больше уважать нашего героя.

В "Третьей страже" Капралова и Туманова Илличу, как обычно, досталась роль человека немногословного и сдержанного. Если не ошибаюсь, это был не то дядька, не то телохранитель знаменитого Саввы Морозова, которого играл Копелян. Телохранитель был горцем, может быть, даже чеченцем, и роль обязывала Иллича участвовать во всех морозовских сценах. Если от Ефима Копеляна требовалось проявление необузданного русского темперамента, то от Виталия Иллича - по контрасту - ждали кавказской скрытности и внешней невозмутимости.

Однажды, выйдя со сцены, Иллич встретил за кулисами жену Копеляна, Людмилу Макарову, не занятую в этом спектакле.

- Люся, ты видела, как я играл? - строго спросил ее Виталий.

- Нет, - ответила Люся, - я только что пришла.

- Ты много потеряла, - сказал Иллич, глядя поверх ее головы, - я сейчас на сцене просто неистовствовал, - сказал Иллич, которого никто, нигде и никогда в таком качестве не видел.

Об этом случае напомнил мне Вадим Голиков, и в поисках подробностей я переспросил Макарову.

- Он сказал: "свирепствовал", - уточнила Люся.

Она владела достоверностью факта, а Вадим пересказал новорожденную байку. И если я отдаю предпочтение редакции Голикова, то не потому, что факту предпочитаю вымысел. Просто слово "неистовствовал" в этом ряду нравится мне больше.

Бывал Иллич и за границей, в том числе с "Ревизором", и за портовым городом Гамбургом записан еще один его знаменитый случай, который нельзя пропустить.

Не зная других языков, кроме русского, и доброхотно принимая систему, согласно которой в чужой стране за все отвечает кто-нибудь другой - старший ли "четверки" или хотя бы сосед по номеру, - Виталий во всем полагался на других. Вот и теперь, решив поспать перед спектаклем, он твердо надеялся на то, что не останется без попутчика.

Разбуженный послушным будильником, он вовремя поднялся, принял душ, побрился, выпил чаю, перекусил на дорогу и собрался идти на спектакль.

Он толкнулся в дверь, но она не открывалась. Хитрый заграничный замок, казалось, нарочно прятал тайну своей защелки и не поддавался Илличу, отрезая его от внешнего мира.

Что делать?.. Виталий стал деликатно стучаться изнутри номера:

- Жора!.. Валерий!.. Юзеф!.. Иван Матвеевич!.. - посылал он в замочную скважину, которой как будто даже и не было в плотной, идеально беленной и наглухо закрытой двери. Время, между тем,

приближалось к "явке": за 45 минут до начала подписи сегодняшних исполнителей на специальном листе с нынешней датой и именами действующих лиц должны убедить помощника режиссера в том, что все на месте и спектакль начнется вовремя.

Иллич стал стучать громче и взывать о помощи все тревожней, но, очевидно, наши ушли на спектакль, а службы гамбургской гостиницы тщательно соблюдали закон неприкосновенности приватной жизни, и никто на внутренний стук не реагировал...

Он стал звонить по телефону, но на той стороне трубку снимал один и тот же служащий коммутатора, не понимавший или делавший вид, что не понимает простого русского языка...

Виталий смотрел на часы и с ужасом убеждался, что начинает опаздывать не только к "явке", но и к самому спектаклю. Это становилось похоже на дурной сон. Спросите любого артиста, какие кошмары мучат его во сне, и он вам ответит: "Забыл текст!" или "Опоздал на спектакль!..".

Кошмар... Кошмар наяву!..

Иллич попытался высадить проклятую дверь с разбега - ничуть не бывало!

Отчаянье его достигло предела: он подводил родной коллектив в условиях повышенно ответственных зарубежных гастролей. И, собрав воедино все мужество и все знакомые немецкие слова, Виталий в последний раз снял телефонную трубку и в ответ на равнодушную абракадабру служащего коммутатора безумно возопил:

- Айн, цвай, драй, SOS!!!

И еще, и еще раз то же самое, потому что номер, ставший его тюрьмой, значился как 123-й, и первые три цифры немецкого счета обозначились наконец в его воспаленном мозгу...

Тут пришли с ключами полоумные смотрители, освободили Иллича из плена и отпустили с Богом играть бессловесного гостя в "Ревизоре".

Стоит ли говорить, что "Айн, цвай, драй, SOS!!!" - тоже стало крылатым выражением и вошло в анналы нашей истории.

Сердечная симпатия, которую питал к Виталию Константиновичу Илличу Георгий Александрович Товстоногов, росла и проявлялась не один раз. На гастролях худрук, бывало, захаживал в номер Иллича, чтобы потолковать с ним о жизни, обсудить удачные покупки и даже посетовать на превратности судьбы.

Однажды, по сообщению очевидца, Гога показал Илличу четыре клетчатые кепки, счастливо купленные им сегодня в фирменном шляпном магазине. Примеряя их одну за другой у

зеркала, Мастер предлагал Виталию последовать его примеру и советовал купить в том же салоне хотя бы один феноменально скроенный и предельно элегантный головной убор.

- Понимаете, Виталий, - сетовал Гога, всматриваясь в свое отражение то под одним, то под другим козырьком, - я очень люблю клетчатые кепки, а Нателла возмущается моей расточительностью. "Зачем тебе целых четыре кепки?.." А я ей отвечаю: "Они мне нравятся, все четыре!.. И я хочу купить все кепки, которые мне нравятся!..". По-моему, женщина должна понимать такие вещи!..

- Действительно, - вдумчиво согласился Виталий, - почему не воспользоваться случаем и не купить четыре?.. Всего по одной кепке на четыре времени года... Вам придется носить одну кепку целых три месяца...

- Это убедительно, - сказал Гога, на мгновение оставив зеркало и повернувшись всем корпусом к Виталию.

Тогда Виталий сказал:

- Почему, в конце концов, не позволить себе даже каприз?..

- Вот именно! - жарко подхватил Гога. - В конце концов, эти деньги я честно заработал!..

И, надев напоследок самую яркую из кепок, Товстоногов попрощался с Илличем за руку и, ободренный поддержкой, пошел к себе.

Поэтому я был глубоко убежден, что исключение Иллича из японского состава не доставило удовольствия нашему Мэтру.

Тем большая ответственность ложилась на меня.

Вынужденный заменить Иллича в "Ревизоре", я оказывался в трудном положении. Если с той или с другой, конечно, приблизительной степенью успеха можно было попытаться заменить артиста в роли г. Бессловесного, то заменить человека в поездке ни при каких обстоятельствах было невозможно. То бескорыстное равновесие, которого достигли в отношениях между собой Иллич и Товстоногов, оказывалось мне совершенно недоступно. В отличие от Виталия, который не претендовал ни на крупные роли, ни, тем более, на режиссерские работы, я всегда надеялся на что-то большее по отношению к тому, что у меня было, и этой своей незамаскированной надеждой по-человечески Илличу явно уступал...

Вот и сейчас, будь я хотя бы театроведом, я бы мог описать роли Иллича и, сделав его актерский портрет, оказать ему лучшую услугу, но я не театровед, а лишь временный наполнитель его костюма в спектакле "Ревизор" и, набрасывая этот кустарный рисунок, надеюсь на его великодушное прощение...

Прежде у Иллича была жена, которую звали Инной и которая удачно работала зубным врачом. А позже они разошлись, и от фигуры Виталия, такой, в сущности, близкой мне по фактуре, что на меня совершенно впору пришелся его родной костюм, стало веять еще большим одиночеством, чем прежде.

По истечении времени он вышел на пенсию и появляться в театре почти перестал.

Умер он от рака, а поскольку газеты об этом не известили и никто не позвонил, на проводах Виталия Иллича я не был.

19

На всю Японию Зину Шарко "пристегнули" к Ивану Матвеевичу Па'льму.

Хара'ктерный артист небольшого роста, с кавалерийской походочкой и шамкающей манерой речи, он шамкал и причмокивал, кажется, не от природного недостатка дикции, а от горячего усердия и давнего навыка играть стариков. Это настолько вошло у него в привычку, что, несмотря на почтенный возраст, Пальму пребывал в постоянном убеждении, что все его герои по-прежнему старше его самого.

Однажды Товстоногов остановил репетицию и, обратившись к нему, сказал:

- Иван Матвеевич! По-моему, настал тот самый момент, когда вы можете перестать играть возраст!..

Р. казалось, что из тьмы сыгранных Пальму ролей он особенно любил роль деда Щукаря; Лебедев играл ее в театре, а Пальму - в концертах, которые Матвеич обожал до полной самозабвенности: где угодно, когда угодно и за любой гонорар; можно и "шефский", давайте!..

Он пришел в студию БДТ в 1936 году. Рыжий, вечно торопящийся, Ваня казался моложе своих восемнадцати, как и много позже казался моложе своих восьмидесяти. Он все еще куда-то спешил и говорил так быстро, что эпизоды его жизни мелькали в рассказе, как на ускоренной кинопленке.

Отец его был финном, а мать - русской, и до Отечественной войны Иван Матвеевич считался финном, а после победы решил, что теперь им завоевано право писать в своем паспорте "русский".

В первый раз его призвали в тридцать девятом. Борис Бабочкин, худрук БДТ, дошел до самого Мерецкова, чтобы Пальму как человека, очень театру нужного, от службы освободить. Но Кирилл Афанасьевич Мерецков, тот самый, в лицо которого несколько позже мочился сталинский следователь, навстречу Бабочкину не пошел, сославшись на суровый приказ самого товарища Сталина.

- Всех финнов мы заберем, - сказал Мерецков, и Пальму был мобилизован в специальный финский корпус, который формировали накануне зимней кампании 39-го года. В тот раз Красной Армии от белофиннов крепко досталось.

Нетрудно догадаться, что, в соответствии со сталинской национальной политикой, наш герой был поставлен перед жестокой необходимостью всю жизнь, особенно смолоду, когда он считался финном, во что бы то ни стало и всеми средствами

доказывать свою беспредельную преданность советской власти.

В 155-м дивизионе 378-го гаубичного полка специального финского корпуса комсомолец Пальму служил помощником политрука, отвоевывая у белофиннов волость Уусикиркко, остров Равансари, речку Ваммельйоки, деревню Метсакюля и другие места, которые были тут же отданы русским переселенцам. Их названия стали соответственно меняться. В этих благословенных местах, забывающих свои финские имена, мы проводим порой свои вольные дни, например, в театральном Доме творчества в поселке Молодежный или в санатории под названием "Черная речка".

В сороковом году Пальму вернулся в театр, а в сорок первом, уже с другим худруком, Львом Рудником, выехал на гастроли в Ашхабад, откуда Больдрамту предстоял переезд в Баку.

Как всегда на рысях, Ваня бежал по чужой улице, как вдруг навстречу ему Лев Рудник, представительный, между прочим, мужчина, и как раз с той самой красавицей артисткой Зинаидой Карповой, которую Товстоногов беспощадно уволил за выпивку, едва успев прийти в БДТ...

И вот Рудник останавливает Ивана и, глядя ему в глаза, произносит эти исторические слова:

- Ваня!.. Война!..

С каким трудом добирались из Баку в Ленинград - рассказ отдельный. Но тридцатого сентября 1941 года последним эшелоном из Ленинграда Большой драматический был эвакуирован в город Вятку, и уже в Вятке Ваню мобилизовали во второй раз.

Служил он в красноармейском ансамбле Третьего Украинского фронта и с помощью острейшей сатиры и взрывного юмора, исполняя, к примеру, "Мы бежали русский край, айн, цвай, драй..." или под аккомпанемент баяна "Барон фон дер Пшик наелся русский шпик", создал колоритный образ неунывающего бойца Рукояткина... Да, да, автор текста сочинил грамотно: "Барон фон дер Пшик отведать русский шпиг..." и т.д., но Ваня пел так, как переиначило популярную песню народное сознание.

Путь ансамбля пролегал от Северного Донца, через всю Украину, Кривой Рог, Одессу, Констанцу и Болгарию до самой столицы Австрии Вены.

На одном штабном совещании полковник соседнего фронта приглашает как-то полковника Третьего Украинского, то есть Ваниного:

- Приходи к нам на концерт, у нас Штепсель с Тарапунькой будут выступать.

А наш полковник ему отвечает:

- Лучше ты к нам приходи, у нас самих есть Пальма-Рукояткин...

Тут, конечно, и орден, и медали, и долгожданное возвращение в сорок шестом в Большой драматический имени Максима Горького...

Иван Матвеевич прославился уже на первых зарубежных гастролях БДТ, которые состоялись за двадцать лет до описываемых нами японских событий в братской социалистической республике Болгарии.

Как вышло?

Грандиозный правительственный обед, в сопровождении концерта выдающихся исполнителей, закатил коллективу Первый секретарь Болгарской компартии товарищ Тодор Живков, и этот его выразительный жест послужил примером и указанием для болгарских регионов.

Идущую "сверху" протокольную обязанность хозяева сердечно топили в ракии и "Плиске", не говоря уже о волшебных болгарских винах.

По правде сказать, все мы, а не только Иван Матвеевич, сильно разбаловались, успев привыкнуть к хмельным рекам и ломящимся столам.

Как вдруг один из болгарских городов вышел из общей шеренги и дал нам понять, что здесь "кина", т.е. банкета, не будет...

Постигшее всех разочарование с детской непосредственностью выразил именно Ваня. Приняв горделивую позу и отставив кавалерийскую ножку, с требовательной и капризной интонацией принца крови он спросил:

- А чем они это объясняют?..

Все грохнули, узнав в Иване Матвеевиче самих себя, и его крылатая фраза вошла в общий обиход на многие годы: плоха ли гостиница, завтраком ли почему-то не кормят, малы ли суточные и любые другие неудобства Большой драматический встречал славной фразой: "А чем они это объясняют?", автором которой был не кто иной, как Иван Матвеевич Пальму...

Со своей женой он прожил 59 лет, до самой ее смерти, и гордился неординарной для женщины прокурорской профессией супруги. И сын их пошел по юридической линии - сначала таможенник, потом адвокат. В такой симметрической позиции - между адвокатом и прокурором - Иван Матвеевич мог всегда чувствовать себя, с одной стороны, защищенным, а с другой - готовым к нападению, и обрадовался, когда внучка тоже поступила на юридический...

Неудивительно, что человеку с такой биографией, к тому же

старому члену партии, в Японии доверили руководство четверкой, в которую входила трудновоспитуемая Зинаида Шарко.

- Зина, - сказал он ей со всей строгостью в один из бездельных токийских дней, - ты почему ходишь одна? Почему нарушаешь?..

- А я языки знаю, - нашлась Зинаида.

- Какие? - удивился Иван Матвеевич.

- Немецкий. И французский, - сказала Зина. Главное было не задумываться и отвечать быстро.

- Откуда? - потрясся Пальму. Он не мог представить в своей подопечной такого языкознания.

- Из театрального института, - твердо отвечала Шарко. - Нам же преподавали!

Факта преподавания иностранных языков в театральном институте Иван Матвеевич опровергнуть не мог.

- Да? - переспросил он. - Ну, все равно, ты должна ходить в своей четверке.

- Хорошо, Иван Матвеевич, - сказала непослушная Зина, - я поняла...

Через несколько дней в два часа по полуночи Иван Матвеевич постучался к своей подопечной по личному вопросу. Запахнув кимоно, Зина впустила его, обратив внимание на рукопись, которую держал в руках взволнованный коллега.

- Послушай, Зина, - сказал Пальму конфиденциально-интимным тоном, - тут в Японии некоторые покупают камушки. Мне попался один такой... Красненький... Ну как он называется?.. Ну, этот... У нас еще режиссер был такой... Агамирзян... Рубен Агамирзян... Ага!.. Вот!.. Рубин, камешек рубин!..

- Да, - авторитетно подтвердила Зина, - есть такой режиссер. И камешек такой есть.

- Но ведь этот рубин стоит столько иен, что на них можно купить... - и Иван Матвеевич передал Зине рукописный перечень предметов, равных по цене одному рубину.

Оказалось, что за те же иены можно приобрести роскошный видеомагнитофон с телевизором и обширным "прикладом", или три гигантские стереосистемы, или тридцать пар модельных туфель, или двести пар "красоток", как выразился обуреваемый сомнениями автор расчетной записки.

- Кроссовок, Иван Матвеевич? - переспросила Зина.

- Ну, да, - со вздохом сказал он.

Подсчеты велись скрупулезно и отняли у Пальму много сил.

- Так в чем же проблема, Иван Матвеевич? - снова спросила Зина.

- Так не стоит, наверное, этот рубин покупать, если столько красоток! воскликнул в отчаянье бессонный Пальму.

- Я не знаю, Иван Матвеевич, - сдержанно сказала Зина, - это уж вы все-таки решите сами.

- Да? - спросил он и, собравшись с силами, подытожил: - Ну, ладно, я решу... Но только очень тебя прошу, Зина, ходи, как положено, ходи в четверке!..

- Будьте спокойны, Иван Матвеевич! - чарующим голосом сказала Зина.

После театрального института ученица легендарного Бориса Вольфовича Зона Зинаида Шарко попала в театр Атманаки.

Сейчас объясню. В те времена - начало пятидесятых - в составе империи "Ленконцерт" жили два таких коллектива. Театр Райкина позже обрел независимость, его помнят все, а театр Атманаки забыли.

Между тем так же, как Аркадий Исаакович, Лидия Георгиевна любила резкую смену костюмов, мгновенные перевоплощения и легко скользила от женских к мужским ролям, щеголяя разными очками, паричками, накладными носами и т.п. Основной ее стиль определялся парадной черной юбкой и черным смокингом с блестящими атласными отворотами.

Положив глаз на бойкую студентку, Атманаки сказала Зине:

- У меня ты получишь сразу восемь ролей, и мы объедем всю страну!

Коллектив приступал к работе над пьесой Владимира Полякова "Каждый день", а режиссером был приглашен лауреат Сталинской премии Георгий Товстоногов. С ним Зина была еще не знакома, но на восемь ролей и гастрольное турне клюнула.

Правда, профессор Зон успел порекомендовать ее в ТЮЗ, но Александр Александрович Брянцев сказал:

- Борис Вольфович, она же - Гулливер, что она будет делать в моем театре?

В действительности Зина не была настолько крупна. Очевидно, Брянцев имел в виду то, что артисты ТЮЗа, призванные всю жизнь играть пионеров и школьников, набирались на манер лилипутов.

На первых же репетициях в театре Атманаки Гога абсолютно Зину покорил и, оценив ее способности, пригласил на работу к себе, то есть в театр имени Ленинского комсомола. Он сказал:

- Вы мне понравились, потому что сразу берете быка за рога.

Тут, помимо творческого контакта, между ними пробежала еще одна тревожная искра, и, как, возможно, померещилось автору, начал исподволь развиваться роман, о котором до сих пор не известно читающей публике. Сама Зинаида Максимовна в

воспоминаниях о Георгии Александровиче эту тему успешно обошла, и потому что всегда была благородно скромна, и оттого, что по сей день служит в театре его имени.

Прочтя рукопись ее воспоминаний, сестра Гоги Нателла (друзья и домашние всю жизнь называют ее Додо) спросила:

- А почему у тебя не было с ним романа?

- А почему ты думаешь, что его не было? - мгновенно отпарировала Зина.

И Додо переменила тему...

Конечно, автору хотелось бы на этой слабой основе дать волю своему разнузданному воображению и, опираясь на собственный опыт, изобразить свободными красками нечто возвышенно-нежное и драматически-тайное, но он не созрел для такого поступка.

Видимо, все впереди, там, где под вулканическим силуэтом вечной Фудзиямы кроется случайное пристанище и оживает новая отвага.

О, какие извержения могут обрушиться на нашу голову, любимый читатель! Какая лава двинется с горы!..

Первого апреля 2000 года на острове Хоккайдо уже пробудился вулкан Усу, и местных жителей пришлось отселять в срочном порядке...

Вернувшись в Ленинград из двухгодичных гастролей, Зина Шарко почему-то в "Ленком" к Товстоногову не пошла, а вступила в труппу Николая Акимова...

За пять лет в театре Ленсовета она сыграла много ролей у очередных режиссеров, но ни одной у самого руководителя.

- Николай Павлович, ведь вы меня любите, почему вы не занимаете меня в своих спектаклях? - спросила она напрямик, и так же напрямик он ответил:

- Если я скажу Гале Короткевич: "Стань на голову", она, не задумываясь, сделает это, а ты спросишь меня: "Почему?".

Таковы были неприемлемые здесь особенности школы Б.В. Зона, который, согласно факту и одновременно легенде, приезжал к самому К.С. Станиславскому и из первых рук воспринял знаменитую систему накануне смерти великого реформатора. А Зина была верной ученицей Зона и любила задавать режиссерам неудобные вопросы.

Павел Карлович Вейсбрем, горячась, подбрасывал ей лихие приспособления, надеясь на мгновенный результат.

- Понимаес, Зина, ты тюдная артистка, и у тебя в этой роли будет настоясий успех. Всякий раз, когда ты входис и выходис, ты поес: "Тореадор, смелее в бой, тореадор, тореадор...".

И он показывал, как она должна входить и выходить, бодро

напевая знаменитую арию, маленький, пухлый и по-детски шепелявый.

- Ну, поняла?

- Поняла, - отвечала Зина.

- Умниса! Молодес! Иди попробуй! - командовал Вейсбрем, и Зина шла на сцену.

- "Тореадор, смелее в бой..." - начинала она.

- Нет, нет, нет! - кричал Павел Карлович. - Нисего подобного!.. Иди сюда!..

Зина спускалась в зал.

- Оказывается, ты не поняла. Я подбросил тебе тюдное приспособление. Слусай. Ты появляес-ся и поес: "То-ре-адор, смеле-е-е в бой!..". Вот о тём ресь!.. Теперь поняла?

- Кажется, поняла...

- Тогда иди, пробуй.

Зина поднималась на сцену.

- "То-ре-адор, смеле-е-е в бой!"

- Нет, нет, нет, нет! - кричал Павел Карлович. - Нисего не поняла!.. Сто это за актриса? - спрашивал он у помрежа. - Не мозет понять такую простую вессь! Иди сюда!

Зина спускалась в зал.

- Слусай, у кого ты утилась?

- У Зона.

- Ну, потему зе ты не понимаес таких простых вессей?.. Я дал тебе роскосное приспособление... "То-ре-адор, смеле-е-е в бой!.." Ну?.. Сто ты смотрис?..

- Не знаю, Павел Карлович, по-моему, я поняла...

- Тогда иди! Иди и сделай!

Зина шла на сцену.

- "То-ре-адор, смеле-е-е в бой!"

- Сто-о-оп! - кричал Павел Карлович в отчаянье. - Это узасно!.. Кто взял в театр эту актрису?.. Сто это такое?.. Совсем бестолковая!.. Иди сюда!

Зина спускалась в зал.

- Кто тебя взял в театр?

- Худсовет...

- Этот худсовет надо разогнать к тертовой матери!.. Хоросо... Ты мозес сыграть мне... люсду на сыпотьках?!

Автор не убежден, что правильно понял образ, в пылу репетиции родившийся у Павла Карловича: то ли "люсда", то ли "узда", то ли что-то третье, но именно "на цыпочках". Однако на этот раз Зина почему-то его поняла.

- Тореадор, смелее в бой, - чувственно запела она.

- Во-о-от! Вот-вот! - закричал довольный Павел Карлович. - То

самое! Наконец я понял, как с тобой разговаривать!..

В тридцатые годы П.К. Вейсбрем нерасчетливо приехал из Парижа помогать строительству социализма в одной отдельно взятой стране. В лагерь он, по счастью, не попал, но, как и все остальные, до конца жизни расплачивался за наивность постоянным страхом. И все же ему удалось сохранить необыкновенную доброту и французскую легкость, чем он расположил многих, а особенно артистку БДТ Марию Александровну Призван-Соколову. Вместе с ней Павел Карлович создал домашний очаг, уютный и укрывающий. На стенах общего жилища расположились картины (по слухам, в доме был даже Модильяни), а у двери на страже хрупкого покоя нес нелегкую службу средневековый рыцарь, составленный из шлема с забралом, крепкого панциря, ручных и ножных лат и кольчужных перчаток...

Надежда Николаевна Бромлей репетировала с Зиной не только в театре, но и у себя дома, и даже дома, в халате, неизменно появлялась на людях в шляпке с вуалью. Беспощадные знатоки объясняли эту странность тем, что бывшая героиня Александринки жестоко облысела. Так это было или нет, но без шляпки и без вуали Надежду Николаевну уже невозможно было представить.

Когда-то она была неслыханно хороша, и вместе с Николаем Симоновым блистала в чеховской "Дуэли". В роли Надежды Федоровны на нее вожделенно смотрели не только все партнеры, но и все мужчины-зрители. А теперь, ставя ту же инсценировку в театре Ленсовета, Надежда Николаевна поручила свою роль Зине.

По признанию новой исполнительницы, роль ей не удалась настолько, что худсовет театра предложил Бромлей снять Шарко, на что она надменно ответила из-под вуали:

- Я сниму всех, кроме Зинаиды.

Тогда решили собрать городской худсовет в надежде на то, что этот авторитетный орган убедит непреклонную Надежду Николаевну.

В его состав входил и сам Гога, который счел за благо переговорить с Бромлей накануне просмотра. Товстоногов убеждал снять Зину с роли Надежды Федоровны, приводя логичные доводы и восторженно вспоминая триумф Бромлей и Симонова в Александринке.

- Зачем вы подвергаете актрису такому ужасу? - спрашивал он. - Городской худсовет будет заниматься только этим, и сор вынесут из избы.

На что Надежда Николаевна спросила:

- А вы видели когда-нибудь такую фигуру? Она же, как

танагрская статуэтка!..

- Да, конечно, - начал Товстоногов, пытаясь возразить по существу вопроса, но Бромлей перебила его:

- А такие глаза вы когда-нибудь видели? Они же, как два моря!..

И Гоге было нечего возразить, потому что перед красотой Зинаиды Максимовны и убежденностью Надежды Николаевны его осторожная логика оказалась бессильна.

Позже моя героиня прочла, что в Индийском океане есть остров Танагра, на нем добывают камень танагр, из которого любил делать свои работы сам Бенвенутто Челлини. И во всех музеях мира можно встретить ту или другую танагрскую статуэтку как символ красоты и изящества.

Конечно, в споре с Бромлей Гога потерпел поражение, но это ничего не меняло для Зины. Роль у нее не получилась; к тому же никак не решался квартирный вопрос, и кочеванье по снятым углам начало портить ее золотой характер.

Однажды Сева Кузнецов, - он тоже работал тогда у Акимова, - подсказал Зине простой выход.

- Слушай, - сказал он, - что ты маешься без дома, без жилья?.. Выходи за Владимирова! Игорь на тебя так смотрит, а ты не обращаешь внимания!.. Все проблемы будут решены!

Так Зина Шарко обратила внимание на Игоря Владимирова и неожиданно для себя самой вышла за него замуж.

Через год или два, при встрече, глядя из-под вуали в морские глаза Зины Шарко, Надежда Николаевна Бромлей величаво спросила ее:

- Ну, как ваши авантюры?..

- Что вы, Надежда Николаевна, - испугалась Зинаида, - у меня муж, ребенок... Никаких авантюр...

- Значит, вы не Зина Шарко, - сказала Надежда Николаевна и пошла мимо нее своим путем.

Вопроса об авантюрах Зина испугалась не случайно, а потому, что ее муж, Игорь Петрович Владимиров, мужчина крупный, красивый и явно в себе уверенный, ревновал ее страстно, мнительно и много больше, чем она заслуживала. Прежде он служил актером в "Ленкоме", а теперь ставил знаменитые елочные представления в Выборгском Дворце культуры, пробивался к театральной режиссуре и, по-видимому, был в некоторой зависимости от Товстоногова.

И вот, приняв Большой драматический и собирая новую команду, Товстоногов поручил Владимирову работу режиссера-ассистента в своем спектакле "Когда цветет акация".

Нет ничего естественней того, что Игорь подумал при этом не

только о себе, но и о своей жене и в разговоре с Мастером по поводу распределения ролей назвал кандидатуру Зинаиды.

И ничего особенного нет в том, что Мастер с этой идеей тут же согласился.

Так потекла ее служба в БДТ, а когда, не без Гогиного участия, Игорь был назначен главным в театр Ленсовета, Зина с ним уже расставалась.

Да, он был чрезмерно, неоправданно ревнив и держал жену в ежовых рукавицах. Но однажды она совершенно случайно напоролась на раскрытую записную книжку, в которой строгий супруг вел для памяти неизбежный при такой выдающейся внешности донжуанский список. "Леля, проводница, - читала Зина, Галя, официантка, Нина, машинистка..." И когда ревнивец упрекнул ее в очередной раз в мнимой неверности, высказывая необоснованные предположения и называя звонкие имена, Зина ответила ему в сердцах:

- Считай, что ты прав... Но учти, что из твоих трахтибидошек мог бы выйти третьесортный бордель, а из моих мужиков - лучший театр в Европе!..

С Борисом Вольфовичем Зоном Зина чаще всего встречалась именно в Летнем саду. Так вышло и на этот раз. Еще на первом курсе учитель велел ей выбрать какую-нибудь статую для этюда. И - надо же случиться такому совпадению! - они столкнулись прямо у Флоры, той самой, что пришлась по душе юной Зинаиде. Они поговорили об искусстве, и на вопрос о том, как идут дела, Зина ответила, что все хорошо.

- Знаешь, дорогая, - сказал Зон, - у меня в этом году намечается неплохой выпуск... Но на курсе есть одна девочка... чем-то напоминающая тебя... Конечно, не такая!.. Таких, как ты, вообще не бывает!.. Но девочка редкой одаренности, пожалуйста, обрати на нее внимание...

- А как ее зовут? - спросила Зина.

- Алиса Фрейндлих, - ответил Зон.

Именно к этой девочке и устремился вскоре Игорь Петрович Владимиров, чтобы создать новую семью и выстроить для Алисы репертуар театра Ленсовета.

А у Зины Шарко возник другой союз, и несколько счастливых лет она прожила с Сергеем Юрским. Вместе они сыграли Адама и Еву в "Божественной комедии" Штока, много других спектаклей и "капустников" и, может быть, больше сотни концертов. Уточнить эти цифры без всякого труда мог бы сам Сергей Юрьевич, потому что он по сей день с поразительной точностью ведет счет сыгранных им представлений и всегда мог сказать, какой нынче по счету "Генрих IV", "Беспокойная старость" или, допустим,

творческий вечер...

И вот однажды, по старой студенческой привычке, Зина гуляет по Летнему саду, а навстречу ей - кто бы вы думали? - Верно, Борис Вольфович Зон.

- Здравствуй, Зина! - радостно говорит он.

- Здравствуйте, Борис Вольфович! - звонко отвечает Зина.

Они идут по аллее и рассуждают об актерском искусстве, и на вопрос о том, как ее дела, Зина опять отвечает: "Все хорошо". И как раз у статуи Флоры учитель ей говорит:

- Знаешь, Зиночка!.. В этом году намечается хороший выпуск, довольно сильный и ровный. И все-таки между ними есть одна девочка, чем-то напоминающая тебя... Нет, нет, конечно, не такая, как ты! Таких, как ты, вообще не бывает... Но что-то подсказывает мне, что она тоже будет прекрасной актрисой!..

- А как ее зовут? - спрашивает Шарко, и Зон отвечает Зине:

- Наташа Тенякова...

И надо же так случиться, что именно к Наташе Теняковой и устремился вскоре Сережа Юрский, чтобы создать новую семью и ставить свои спектакли именно с Наташей.

А Зина опять осталась одна и решила больше не выходить замуж.

Прошло еще несколько лет, и однажды на вечере памяти Зона они втроем вышли на сцену Дворца искусств имени Станиславского и сыграли сцену из "Трех сестер": Зина Шарко сыграла Ольгу, Алиса Фрейндлих - Машу, а Наташа Тенякова Ирину. По старшинству.

В тот вечер они нежно вспоминали дорогого Бориса Вольфовича и любили друг друга, как родные...

И вот Зина ходит по древней японской земле, то в четверке, а то и одна, и, выбирая сувениры родным и друзьям, думает, что бы такое особенное подарить Гоге на его семидесятилетие. Коллективный подарок - само собой, но что подарит любимому режиссеру именно она, Зинаида, это пока еще вопрос...

- Выпейте японского молочка, Иван Матвеич, - ласковым голосом предлагала Зина в ответ на очередной стук в дверь. - Удивительно вкусное молоко!..

- Нет, нет, что ты, я сыт, - категорически отказывался Пальму.

- Один стаканчик, - настаивала Шарко, - пожалуйста, Иван Матвеич!.. Попробуйте!..

- Что ты, Зинаида!.. Пей сама на здоровье!.. Тебе нужно!..

- Бутылка уже открыта, выпейте, не стесняйтесь!.. Ну!..

И Пальму наконец соглашался и пил японское молоко из Зининой бутылки, взяв с нее наперед честное слово, что она принимает его ответное приглашение и в Петербурге придет на

полный обед в гости к Ивану Матвеевичу и его супруге, где они и отметят благополучное возвращение домой...

В национальный музей ходили всей стаей.

Сперва кимоно кимоно как полотна Пейзажи с дворцом и деревней и морем Река и мосты и дворы и деревья Холмы и кустарник и берег, и лодка Не джонка а лодка Китай за забором И желтое и голубое свеченье Неведомой жизни

музейной тревоги Нигде не унять ни в Москве ни в Киото А ритм изнутри помогает запомнить заполнить провал

и шафранного тела Стыдливый пожар, набеленные щеки И красные полураскрытые губы И все это на кимоно продолженье Рассказа кино окинава киото На белом шелку с поясами из шелка

Вот легкие праздники чуждой одежды И все это поочередно неспешно И сдержанно я бы накинул на плечи Твои как судьбу обнажив их сначала...

Ну да, конечно... Музеум... Ритмическая организация льстящего нам фона... Гармонизированный хаос японского бытия...

А там веера золотые как рыбы И рыбы с серебряными веерами И парус косой и гора Фудзияма...

Но в том-то и дело, что каждый из большой драматической стаи, каждый, бредущий мимо этнографической утвари, расписных ширм, самурайских клинков, посудных горок, медных горшков, фонарных светильников, приземистых столиков для чаепития и прочего антикварного запаса, - каждый из нашей большой драматической стаи сам представлял собой ветшающий экспонат на пути к музейной неподвижности и не догадывался об этом...

20

С первой репетиции "Розы и Креста" Р. предлагал всем участникам быть на виду и слушать не только свои, но и чужие сцены - ведь сперва у нас идет как бы застольная читка, а потом уже постепенно рождается спектакль... Но коллеги, что называется, забастовали, не желая изображать "живую декорацию" и быть в "антураже", так что пришлось им уступить.

А Гога, не сговариваясь с Р., взял да выволок всю команду не только на первый акт, но и после антракта, чтобы все слушали историю Бертрана и Гаэтана, и, повинуясь Мастеру, ребята вышли и расселись, как положено, сделав добрые, чуткие и понимающие лица...

Здесь сказывался феномен, который был знаком всем режиссерам, имевшим счастье (или несчастье) осуществлять свои партитуры в Большом драматическом при Гоге. Сознательно это происходило или бессознательно, но как бы этически безупречно ни держались артисты во время репетиций с "другими" режиссерами, стоило Гоге войти в зал, а тем более начать вмешиваться, как у всех возникал общий патриотический зуд, а с некоторыми случались настоящие припадки преданности.

Казалось бы, ну что особенного содержит реплика: "Да, да, конечно, Г.А., именно так я и думал!.." (артист А.)?.. Почти ничего, кроме остающегося недосказанным продолжения: "Но Р. заставил меня делать не так, как я думал, а ваш приход ставит все на свои места".

Или другая реприза, в исполнении артистки Б.: "Ах, вот оно что-о!.. Тогда - понятно!". Она переводится так: "До вашего прихода, Г.А., ничего нельзя было понять, а теперь все стало ясно".

Фраза же единомышленника В.: "Я понимаю вас, Г.А.!" изящно вычерчивала в воздухе сразу несколько вариантов, включающих и тот, который приветствовал бы полное устранение путающегося у всех под ногами самозванца Р...

Автор просит не воспринимать его самодеятельные "переводы" и толкования в качестве упреков закрепощенным обстоятельствами коллегам. Подобные фразы и реплики рождаются у них без всякого злого умысла и вылетают сами по себе как свидетельство изначальной и неискоренимой верности своему любимому режиссеру. Может быть, они содержат и тайный упрек в его адрес: "Зачем ты отдаешь нас в чужое пользование, когда мы хотим работать только с тобой?".

Давно замечено, что в природе всякого артиста наличествует

женское начало, вне зависимости от его первичных (или вторичных?) половых признаков. И это не более чем объективный факт, вызванный тем, что не он выбирает, а так или иначе выбирают его. Поэтому всякий артист подсознательно ведет себя, как девушка на ярмарке невест...

Или как девятая жена в гареме...

Или - уж простите за такое сравнение - как последняя б... в бардаке.

Вот эти-то поляризующие нюансы, опять-таки вызванные судьбой и обстоятельствами, и следует принимать в расчет, имея в виду актерскую переменчивость.

У некоторых северных народов есть обычай, в соответствии с которым муж по закону гостеприимства радушно отдает жену на ночь приезжему. Такой эпизод содержится, например, в романе лауреата Сталинской премии Тихона Семушкина "Алитет уходит в горы".

Примерно то же самое происходит, когда главный режиссер театра отдает своих актеров во временное пользование "другому" - своему или заезжему.

И вот, - вообразите сцену, - входит муж и застает свою благоверную в некой позиции, вынужденно принимающей гостя. С одной стороны, выполняя мужнин приказ, она не может прервать творческого акта, а с другой - должна в то же время показать супругу, что любит только его...

Важное уточнение: сам Р., играющий в данном конкретном случае страдательную роль внештатного режиссера-постановщика, в качестве артиста вовсе не являлся исключением из общего правила, и автор не раз ловил его на кажущихся простительными и понятными, но явно нездоровых проявлениях гаремного патриотизма.

Ну, например, когда Гога появился в зале перед выпуском "Бедной Лизы" Н.М. Карамзина в постановке Марка Розовского, Р., забыв надменную барскую ленцу и глубокомысленную заторможенность, мгновенно оживился и рванул исполнять танцы и куплеты соблазнителя Эраста, как наскипидаренный, что было тут же отмечено впечатлительным Марком... Розовский-то пришлый, а Гога свой, и, главное Хозяин... Видно, от актерского рабства, хоть его стыдись, хоть им гордись, никуда не денешься, и никому не дано пройти все испытания, сохранив на лице печать невинности. Особенно трудно приходится настоящим мужикам...

Прекрасный московский артист на амплуа социальных героев Александр Александрович Ханов играл главные роли в театре Н.П. Охлопкова. Автор видел его в спектаклях "Аристократы" и "Гостинница "Астория"" и готов засвидетельствовать, что это был

несомненный талант. Но именно ему, артисту Ханову, крупному и уверенному в себе мужчине, не обиженному ни судьбой, ни природой, ни почетным званием, принадлежит, по слухам, потрясающий афоризм: "Стыдно быть старым артистом...".

Представляете?

То есть, вообще-то, до определенного возраста, артистом быть еще, мол, куда ни шло, а уж если дошло до старости - беда, спасайся кто может...

Иные имеют право, конечно, тут же возразить, а некоторые даже и возразят в том смысле, что и в старости - не стыдно, и приведут в пример себя или другие исторические персоны, и будут, разумеется, правы. Почему? Да, во-первых, потому, что автор - не авторитет, а человек ошибающийся или, верней, ошибочный, о чем он - обратите внимание! - не устает повторять; а во-вторых, по известному школьному закону: исключения подтверждают правило...

Но задуматься тут, ей-богу, стоит! И даже тем, которые - исключения. Потому что стыд, судя по историческому опыту, лишним не бывает, и под его благодетельной краскою спаслась не одна душа...

Откровенно говоря, эти рассуждения выгоднее, конечно, вычеркнуть, дабы не оттолкнуть любезного читателя от великого театрального искусства вообще и актерской нации в частности. Если Р., вслед за артистом Хановым, стал стыдиться своей профессиональной принадлежности, это его собачье дело, вызванное то ли неудачливостью, то ли бездарностью, а может, тем и другим вместе. Если же он и в старости позволяет себе зарабатывать на хлеб актерским ремеслом, тогда речь идет уже о двурушничестве, т.е. полной душевной патологии.

Да, да, и еще раз да! Читатель догадался, и Р. действительно стыдно вдвойне, а от саморасстрела его останавливает лишь то, что это - тяжкий грех, и лишь во избежание тяжкого греха влачит он до сих пор свое гнусное существование, оскорбляющее патриотов актерской профессии.

Почему же автор этого не вычеркивает?.. Потому что, каким бы скромником он ни прикидывался, высокие примеры русской литературы не дают ему следовать соображениям корпоративной актерской выгоды. Истина, истина - вот что его влечет, полная правда и последняя откровенность перед другом-читателем, без которых после А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского и браться за перо не моги!..

Единственное, что может сделать автор для бедного артиста Р., это дать ему выкрикнуть сквозь клетку своей ограниченности:

- Виват властителям дум и депутатам Балтики!.. Виват

социальным героям и жертвам гражданственности!.. Браво комиссарам и бесприданницам, шмагам и субреткам, парторгам и травести!.. Брависсимо ветеранам гонимого скоморошества и инвалидам гастрольных путей!..

Слава - патриотам! Гип-гип-ура! Позор - отщепенцам! Ату, ату!.. За нашу победу, товарищи!..

Вы как хотите, автор же предпочитает водку Санкт-Петербургского завода "Ливиз", коей является бесстыдным патриотом, и в качестве примечания сообщает для несведующих названия сортов: "Охта", "Менделеев", "Санкт-Петербург", "Синопская", "Пятизвездочная", "Петр Великий", "Дипломат", "Победитель" и т.д. Хороши все без исключения, а стыдно должно быть одному московскому заводу "Кристалл".

Последнее, что тут можно добавить, это уточнение о мизансцене. В некоторых мизансценах действительно не ощущается вовсе никакого стыда.

Например, на корточках.

Не пробовали? Объясняю.

Когда Николай Константинович Черкасов разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным о том, как ему играть Ивана Грозного, он всю беседу сидел рядом с Вождем на корточках и, скрывая таким образом свой высокий рост, смотрел на Учителя снизу вверх.

За эту мизансцену в Николая Константиновича мы камень не бросим, уж больно велика была степень риска, тут актерская игра могла стоить жизни. А то, что Сталин ему дачу в Комарово подарил, так это - пустяки, мелочовка, дешевая плата за великий талант, искреннюю любовь и живой страх...

Но что удивительно, точно так же, как Николай Черкасов, вел себя на наших репетициях артист Х по отношению к Георгию Александровичу Товстоногову. Стоило Гоге подозвать его для замечания, он, вспорхнув, оказывался рядом и, умаляя свои габариты, тоже опускался на корточки... Вряд ли Х в такие минуты вспоминал Николая Константиновича, а скорее всего, даже и не знал исторического примера. Но интуиция у него была надежная, и, не скрывая обожания, он тоже смотрел на нашего Учителя снизу вверх.

Некоторые свое обожание не демонстрировали и слушали Мастера, находя другие мизансцены и соблюдая внешние приличия, а он - нет, не скрывал.

И, судя по результату, правильно делал...

Имеется в виду не художественный результат, а житейский.

Стоит ли тут же обнародовать назидательный вывод?

Очевидно, стоит, потому что, несмотря на успехи

гуманитарных наук и лозунг писателя Чехова о ежеминутном выдавливании из себя раба, у нас в актерском сословии, к сожалению, еще не все такие чеховеды и ревнители.

Значит, вывод.

Кто стыдится своего "невыдавленного" рабства, тот все равно раб и к тому же дурак.

А кто им гордится, тоже, конечно, раб, но зато - настоящий умница!..

Да, в любых обстоятельствах лучше терпеть, а не горячиться. В японских обстоятельствах - тем более.

Цветок лотоса - символ рая, и если такой красивый цветок, как лотос, растет в болоте, то человек должен стерпеть все. Вот японский ответ на вопрос Гамлета "Что благородней духом?", вот почему хотя бы в Японии нужно было учиться сносить и терпеть. Если мы вообще могли научиться чему-нибудь еще...

Но Слава Стржельчик не мог больше терпеть и страшно горячился. Особенно при мне. Кроме остального, нас связывала теперь сцена вербовки в обкомегоркоме и наш безрассудный отказ. "При народе" он еще как-то сдерживался, а тут мы чуток отстали от компании по пути из "Сателлита" на Акихабару, и он давал выход своему темпераменту. Каких-то вещей он вообще не мог терпеть.

- Хулиганство!.. Просто хулиганство! - объявил он и, таким образом обозначив тему, перешел к подробностям, которые я опускаю.

Тот, чьим поведением возмущался Слава, легкомысленно вышагивал впереди и даже не оглянулся. Во-первых, он никак не мог услышать ни рассказа, ни вывода, а во-вторых, те нравственные глубины, которые волновали Стржельчика, не были предметом его забот.

А Славу постоянно заботила актерская порядочность, чистоплотность и, конечно же, моральный климат в коллективе, театральном обществе, городе и во всей стране.

Он и прежде был настоящим гражданином, а, вступив в партию, принял свой поступок всерьез и стал посильно помогать людям уже не только по доброте душевной, как прежде, но и по долгу партийного гражданина.

Каким удовольствием было играть с ним в "Мещанах", когда монолог моего Петра упирался в стену его великолепного презренья.

- Мещанин! - припечатывал Тетерев-Стржельчик и добивал: - Бывший гражданином полчаса!..

И - с последним слогом - удар по клавишам!..

И - аплодисменты нам на пару!..

Правда, это он всегда играл хорошо, независимо от членства в партии.

Еще два года назад, в Буэнос-Айресе, Стриж рассказал мне на авеню Либертад мрачную историю о том, как первый секретарь обкомгоркома Гришка Романов, рассвирепев из-за Славиных проволочек, вызвал на ковер Володьку Вакуленко, предыдущего директора, и приказал ему в течение десяти дней оформить вступление Стржельчика в КПСС, иначе Вакуленке несдобровать. И выгнал его из кабинета. А когда бледный Вакула рассказал это нашим первым сюжетам, они все заволновались и стали сокрушенно кивать головами и делать сочувственные глаза, и все стали брать Стржельчика под руку и говорить: "Что делать, Слава, придется тебе вступать... Надо же подумать о театре!.. Если ты не вступишь, у театра будут большие непрятности. Ты же знаешь, какой злопамятный этот Гришка, как он преследовал Юрского и выжил, наконец, Сережку из города и из театра!.. Что делать, Слава, такие времена, тут уж не отвертеться, придется тебе вступать...". А когда он поддался на их уговоры, и Володька на рысях побежал оформлять его членство, и он, ради общего дела, все-таки вступил, те же сюжеты стали морщить носы и отворачиваться, как будто он вступил прямо в дерьмо и от него уже воняет...

А потом все стали за глаза мыть ему кости: мол, смотрите, и этот туда же, мало ему "народного СССР", он еще метит в депутаты горсовета и прочее, и прочее, и так далее... Трах-тибидох-тибидох-трам-там-там!.. Там... та...

Положение и впрямь получалось поганое: и партийцы не больно-то держали его за партийца, и беспартийцы перестали считать своим. Хоть и член, однако не стойкий. Хоть и поляк, но почти еврей. И это, несмотря на самого Гришку Романова и его принудительную рекомендацию... Полного доверия, которого Стриж, как никто другой, безусловно заслуживал, он и не мог добиться ни у тех, ни у других...

Мы стояли у "Зоомагазина", как раз на полпути от "Сателлита" до Акихабары, и смотрели на попугаев. Я здесь всегда застревал...

Серо-белый, изящный, с красным хохолком, был сердит и выкрикивал какие-то японские грубости.

Другой, чуть крупнее, совершенно белый, с желтым тюрбаном и красным клоунским пятном на щеке, наоборот, вроде всегда улыбался.

Нравился мне и зеленый, среднего роста упитанный попка, который постоянно что-то раскусывал красным клювом и пожевывал, показывая черный язык; и два огромных гладиатора с

мощными хвостами и в пестрых доспехах; и попугайные лилипуты, тоже разноцветные и веселые, вечно свистящие и поющие, как будто они живут не в клетках, а в раю; и черный дрозд с розовым клювом и желтыми очками; и щемящие душу колибри, совершенные крохи, никогда прежде не виданные...

Но обезьяна на цепи, сероголовая и белолицая обезьяна с длинным хвостом, сильная и грациозная, как женщина-вамп в кровавой драме, белолицая японская красавица, следящая за ходом продаж, - вот кто покорил мое беспутное сердце...

Я думал, что Слава успокоился, но оказалось, что это был только разгон.

- А тот? - грозно спросил меня Стриж и показал головой на северо-запад. Ты-ы его-о не зна-аешь, - зловеще пропел он. - И я, оказывается, его не знал...

Мы уже отошли от "Зоо", но он снова меня остановил. - Володька, только ни-ко-му!.. Клянись!..

Мне стало неуютно, и я сказал:

- Если не доверяешь, я обойдусь...

- Доверяю, - глухо сказал он, и я понял, что тайна, от которой он жаждет освободиться, может его разорвать. - Он взял меня с собой на "Черную речку", на дачу... На "спец-дачу"... - И Слава сделал роскошную паузу, давая мне хотя бы отчасти вообразить себе "его" и "спецдачу". - Я спросил, куда мы едем, но он ничего не сказал... Он сказал: "Увидишь...". Встречали нас... такие... Коля... И Сережа... И еще один... Не знаю, как его звали, но - референт... Значит, пятеро мужчин, а их - четырнадцать... Четырнадцать девок... Слушай. Тут Стржельчик взял меня под локоть и заставил идти с ним в ногу, а голос понизил, не доверяя даже встречным японцам. - "Кадры" - отборные, можешь мне поверить. Стюардессы с зарубежных рейсов, в основном. - Теперь я понял, по какой причине назначен конфидентом: рассказ о стюардессах Люлечка могла неверно истолковать. - И вот этот Коля наставляет на меня палец, вот так, как пистолет, и спрашивает его: "Будет молчать?". И он говорит: "Будет". Тогда референт наставляет на меня палец и опять его спрашивает: "Ручаешься?". И он поворачивается ко мне и спрашивает: "Ты понял?". Я говорю: "Понял". А он мне опять: "Ты понял, что этого не было?". И я вижу, что это - другой человек, я его не знаю!.. И я ему говорю: "Я понял, это - сон!". И он - смеется... И эти тоже... И тут начинают подходить девицы... И все смеются, понимаешь?.. Всем весело... Всем, кроме меня... Ну, я здороваюсь с ними, а Коля стоит рядом и говорит: "SOS! Эту - нельзя!.. И эту - тоже... А эту - можно...". А референт улыбается. А он - смеется, представляешь?! - Тут Слава меня отпустил, и некоторое время мы шагали молча.

Потом я задал глупый вопрос:

- А эти - Коля и референт - они партийцы?..

- Они? - тревожно переспросил Слава. - Они же охраняют...

- И девки? - спросил я. - Как ты думаешь, они - члены партии?.. Или сочувствующие?..

- Черт их знает! Какое это имеет значение? - нервно спросил Стриж.

- Ну, если им доверяют летать за рубеж и давать начальству, неужели беспартийные?..

- Можешь мне поверить, Володька, я нарочно не оставался ни с кем наедине!.. Ну выпили, потанцевали...

- Конечно, - сказал я, - на хрен тебе это нужно, только свистни!..

- В том-то и дело, - обрадовался Стриж.

- А ему зачем? - спросил я.

- Лестно, понимаешь, - объяснил он. - Где эти, там и он!..

Квартала два мы прошагали молча, а когда показалась Акихабара, я спросил:

- Слава, зачем ты это рассказал?

- Не понял...

- Зачем мне знать, если это такая тайна?

Он хитро посмотрел на меня и объяснил:

- Потому что ты можешь не послушаться...

- Ну, вот, - сказал я, - теперь понятно...

Чувствую, что любознательный читатель опять огорчен неполной ясностью, а может быть, даже и ярится против автора: кто же все-таки увлек бедного Стржельчика в притон партийного разврата на берега Финского залива, в устье речки Черной, именуемой ранее Ваммельйоки, но отвоеванной в боях Иваном Пальму и победоносной Красной Армией? Какой мерзавец задумал лишить его невинности с помощью коварных референтов и бесстыдных стюардесс?..

Но и тут роман не дает ясного ответа.

И тут уклончивый автор не называет точного имени.

Почему?..

Во-первых, обещал.

А во-вторых, сам не помнит. То есть, конечно, помнит, но...

Если он жив, сам вспомнит и застесняется.

А если не застесняется, Бог ему судья.

Главное ведь что? Что у него ничего не вышло, и Стриж остался чист, как слеза...

21

Читатель, не переживший наших времен, должен учесть, что мы десантировались на японские острова не при Брежневе, а при Андропове. Меньше чем за год до описываемых гастролей до нас донесся скрип исторического колеса в покорной ноябрьской Братиславе. "Глубокий славянский поклон" в адрес ушедшего лидера заслуживает особого внимания...

Однажды во время разговора о блоковском спектакле, в котором вместе со мной участвовал Семен Ефимович Розенцвейг, в кабинет Товстоногова вошла Дина Шварц и с озабоченным видом сообщила о смерти вождя югославских народов Иосифа Броз Тито.

Гога насупился и ничего не сказал.

Тогда Дина внесла изящное предложение:

- Может быть, нужно выразить соболезнование нашему югославу? - сказала она.

Как я уже говорил, в это время у нас ставил спектакль приглашенный из Белграда режиссер Мирослав Белович.

Мирослав был человеком полным и темпераментным и с ходу заявил, что лучше "скучать о театре, чем скучать в театре". Он не давал артистам шагу шагнуть без уточняющих указаний. Репетиции превращались в его ежедневные моноспектакли, на которых Белович обливался потом и менял несколько рубашек, а артисты довольно холодно следили за его эскападами.

Спектакль "Дундо Марое" Мирослав хотел сделать точно таким же, как в Белграде, но, каковы его отношения с вождем югославских народов, никто не знал...

В ответ на предложение выразить соболезнование Мирославу выражение лица у Гоги сделалось кислым, потом недовольным и, наконец, брезгливым. Он посмотрел на Дину так выразительно, что реплики "Что за идея?" и "Кому это нужно?" беззвучно передались проницательному завлиту, и она без комментариев вышла за дверь.

О смерти Иосифа Броз Тито Мирославу Беловичу в Ленинграде пришлось скорбеть одному.

О смерти Леонида Ильича Брежнева мы скорбели всем коллективом и тоже вдали от Родины.

За завтраком переводчица Наташа, фамилии которой не сохранилось в анналах, вошла в кафе братиславского отеля "Девин" вместе с нашей актрисой Наташей Даниловой, известной теперь всему свету по фильму "Место встречи изменить нельзя", и сказала, что слышала по радио траурную весть.

Олег Басилашвили переспросил, сама ли она это слышала, и она сказала:

- Сама.

Тогда Миша Волков задал свой вопрос:

- Подождите, на каком языке?

Переводчица сказала:

- На словацком.

Из уст в уста, и от столика к столику известие распространилось по всей столующейся труппе, и после живых, но приглушенных оценок актерские лица приняли мужественное выражение хорошо скрытого горя, а движения челюстей, в соответствии с моментом, печально замедлились.

Помимо общей печали в коллективе возникло и частное замешательство насчет того, будет ли театр играть гастрольный спектакль "История лошади" или нет. Мнения разделились, но большинство сошлось на том, что в день смерти исторического человека показывать "Историю лошади" не очень тактично.

Дина Шварц вспомнила по этому поводу, что в день смерти Сталина в театре Ленинского комсомола было назначено какое-то совершенно не подходящее случаю представление, в огромном зале сидело человек сто, но поступило указание играть, и спектакль играли.

Заместитель директора Рома Белобородов, имея в виду смерть Леонида Ильича, сказал со значением:

- На этот случай Рейган назначил "час икс".

Что такое "час икс" и во что он должен вылиться для нас, никто не знал. Неясно было и то, сам ли Рейган сообщил о своем решении Роме Белобородову или поручил это другим лицам.

Вскоре стало известно, что указаний из нашего консульства можно ожидать не раньше двух часов пополудни, и все тихо разошлись, стараясь не встречаться взглядами в "Доме мод" и увешанных знаменитыми чешскими люстрами магазинах "Светидла".

В два часа спектакль был отменен, а вечером администрация отеля "Девин" предоставила коллективу скромное помещение во втором этаже для проведения траурного митинга.

Артисты и "цеха" стали собираться и рассаживаться, сдерживая случайные реплики, поэтому шарканье и скрип стульев раздавались с особенной резкостью.

Вадим Медведев как человек мастеровой заинтересовался формой и выделкой своего стула: как именно собран, гвозди или клей, какой материал пошел и нет ли где марки завода или имени мастера; он поднял изделие вверх ножками, приблизил к лицу и вертел над нашими головами, пока другая половина

знаменитой семьи, Валентина Ковель, не осадила его в прямом и переносном смысле.

- Нашел время! - внятно сказала она мужу, выхватив у него стул и усевшись именно на него с официальным выражением лица.

Одеты были по-разному: кто в полудомашнем виде - спустились-то из номеров, - а кто в известном приближении к трауру. Кирилл Лавров надел черный галстук, и стало ясно, что ему досталось говорить, а Гога пришел в серой курточке, из чего следовало, что он выступать не станет.

Слава Стржельчик уселся в первый ряд и до самого конца митинга все оглядывался и оборачивался, заинтересованный тем, кто и как реагирует на выступления и выступающих.

А Семен Розенцвейг вошел в зал в темном пиджаке, держа под мышкой черный футляр, и стало очевидно, что мы услышим скрипичную музыку.

Открыл митинг, конечно, Толя Пустохин, парторг, и сразу предоставил слово директору Суханову, которому предстояло играть на митинге первую роль.

Тут, пожалуй, уместно упомянуть, что наш директор не в первый раз соединял свои творческие силы с коллективом Большого драматического. Еще в начале пятидесятых годов он, будучи тенором, участвовал в его работах на более скромных ролях. Так, например, появляясь к началу спектакля "Враги" М. Горького, поставленного еще Н.С. Рашевской, он в нужный момент соединялся за кулисами с молодыми артистами Изилем Заблудовским и Борисом Лёскиным. Помреж Зина Либровская давала отмашку, и трио запевало печальную песню о горькой участи российского пролетариата: "Маслом прогорклым воняет удушливо..." и т.д. Закулисное пение создавало нужную атмосферу для тех, кто, выйдя на сцену, играл собственно "врагов". Правда, Изиль Заблудовский оспорил свидетельство Бориса Лёскина, заметив, что в те времена ни Либровская, ни сам Лёскин в театре еще не служили, на что автор ему возразил в том смысле, что спектакль, видимо, шел не один год, и "Маслом прогорклым..." мог исполнять не один премьерный состав, с чем Изиль Захарович в итоге согласился. Т.е. уже тогда Геня Суханов - так называли его участники трио - с полным правом подходил к кассе, чтобы получить свои "разовые". Теперь у него была лучшая, директорская зарплата, и, надо отдать ему должное, вместе с Толиком Пустохиным он отлично смотрелся в обстановке похоронного обряда.

С бледным одутловатым лицом, Геня говорил ровным драматическим тенором, без тремоло, но с внутренним чувством

и известной сдержанностью, употребляя доступные даже потрясенному сознанию слова.

Он сказал:

- ...перестало биться сердце... глубоко скорбим... борец за мир... коллективный разум...

Лично до меня заново дошла образная глубина мысли о "коллективном разуме". Особенно заинтересовал вопрос о процессе его сбора и месте размещения. Ведь если весь коллектив единодушно и добровольно поотдавал собственный разум во всеобщую складчину, и этот "общак" помещен в особом месте, то с чем же остается каждый отдельный член коллектива? Вызывали интерес температура хранения, общий объем серого вещества, а также размер сосуда, в котором "коллективный разум" доводят до кипения ("кипит наш разум возмущенный"), и вопрос о том, сколько времени его кипятить, пока не выварится новый генсек... Впрочем, скорее всего, эта мысль возникла не во время траурного митинга, а гораздо позднее, и невольный анахронизм - следствие разнузданного "перестройкой" воображения.

Тут дали слово Кире Лаврову, который подготовился к событию слабее, чем Суханов, и присоединился к сказанному директором. Однако добавил и от себя, что воочию видел Леонида Ильича всего один раз, но те, кто видел его чаще, а таких людей он знал, уверили Киру, что это был добрый человек.

Сеня Розенцвейг сидел сбоку, так, чтобы удобнее было выйти вперед, и то отстегивал, то снова закрывал замки на футляре, стараясь, чтобы они не щелкнули. Но никакого понятного знака ему не подали, и Сеня так ничего и не сыграл.

Когда митинг был закрыт, все заметно раскрепостились, потому что в связи с отменой спектакля вечер и ночь впереди были совершенно свободны, и как по долгу, так и по обычаю предстояло помянуть доброго человека и Генерального секретаря. Тут же составились соответствующие общежитию компании и расфасовались по номерам. У всех с собой было, а у кого уже не было, запаслись днем...

Мы пошли скорбеть вчетвером, все беспартийные: Олег Басилашвили, Миша Волков, Сеня Розенцвейг и я.

Когда первая поминальная рюмка, предложенная Олегом, прошла на удивление удачно, он объяснил, что причиной тому сам Леонид Ильич, который хорошо относился к русским обычаям вообще, и к поминальной водке в частности. Олег предложил не делать большой паузы между первой и второй рюмками, а дальше посмотрим...

Никто возражать не стал, тем более что хозяином номера был Семен Розенцвейг, человек не только большой музыкальной

одаренности, но и высокого понимания момента, что он и доказал, немедленно разлив по второй.

Когда вторая прошла не хуже, а может быть, и лучше, чем первая, я спросил Сеню, кто посоветовал ему прихватить скрипку на траурный митинг и почему он, в конце концов, не сыграл? На что Семен, подкладывая нам консервной закуски, признался:

- Вообще-то Гога...

- Что он сказал? - потребовал ответа Миша Волков.

- Он сказал: "Возьмите скрипку, сыграете Шопена...", - Сеня махнул рукой и добавил: - А, не в этом дело!..

Сеня Розенцвейг, как и Дина Шварц, перешедший в БДТ из театра Ленинского комсомола вслед за Товстоноговым, так часто употреблял в разговоре присказку "Не в этом дело", что и мы стали пользоваться характерным выражением для того, чтобы намекнуть на самого завмуза.

Иногда я не обращал внимания на этот лейтмотив, а иногда, особенно во время совместной выпивки, мне начинало казаться, что Сенино присловье не так просто, как кажется, и несет в себе бездну тревожащих смыслов.

Ну, во-первых, все сказанное перед "Не в этом дело" превращалось в надводную часть речевого айсберга и намекало на подспудные толщи вынужденно или намеренно скрываемых тайн. Во-вторых, изо дня в день повторяемое "невэтомдело" заставляло мысль устремляться вперед, не дорожа изреченным, а подсказывая, что главное хотя еще не произнесено, но уже твердо обещано.

Иногда от любимого присловья веяло тихой печалью, и оно наводило на мысль, что автор его однажды и навсегда утратил надежды быть понятым и сознательно обрек себя на скорбную недосказанность... Тут возникала догадка о великой и вечной непознаваемости жизни и горькой тщете всеобщих усилий ее разгадать...

Повторяя свое "невэтомдело", Сеня прибегал к такому разнообразию напевных, выразительных и ускользающих интонаций, что понять его в каждый данный момент было непросто, хотя я и сделал несколько шагов в этом направлении во время совместной работы над спектаклями "Лица" по Ф.М. Достоевскому и "Роза и Крест" А.А. Блока...

Итак, мы выпили по третьей за "скрип исторического колеса", и третья пошла просто отменно.

Не берусь показать под присягой, в промежутке между какими по счету рюмками Олег Басилашвили, которого мы чаще называли "Бас" или "Басик", сообщил, что по дороге на траурный митинг Гога подхватил его под руку и раскинул свой пасьянс

насчет того, кому быть преемником.

- Хорошо бы Андропов, - сказал Гога.

- Почему? - спросил Бас.

И Гога ответил:

- Во-первых, он самый большой либерал из них всех, во-вторых, мгновенно решил вопрос о моем спектакле в "Современнике", а в-третьих, был за то, чтобы Солженицына не сажать, а выслать.

Впрочем, Бас мог перепутать порядок причин, так как мы уже не помнили порядка выпитых рюмок.

Тут Сеня молча показал Олегу сначала на стены, а потом - на уши.

Но Олег громко и артистически вкусно выдал известное русское выражение, посылая как стены, так и уши "трам-там-там" до востребования... В возвышенные моменты он вспоминал свою мхатовскую школу и начинал вести себя по образцу настоящих мужчин и кавалеров, какими были в его рассказах подлинные герои Анатолий Кторов, Борис Ливанов, Михаил Болдуман и особенно его педагог Павел Массальский.

Вскоре мы ушли от темы дня и стали утрачивать логику, а Миша Волков, достигнув апогея, принялся насылать громы и молнии на голову блондинки, которая вчера вечером давала ему авансы в гостинице "Девин", а ночью коварно обманула все ожидания. От блондинки Миша перешел к девушкам других мастей, часть которых мы знали, и привел некоторые интимные подробности, которых не мог потерпеть целомудренный Сеня.

И Сеня приказал Мише:

- Замолчи, ты, развратник!

Но Миша почему-то не обиделся, а только удивился и задал Сене несколько прямых вопросов о манерах его поведения в лоне семьи.

- Только в темноте!.. Только в темноте! - неистово закричал оскорбленный Сеня, и мы поняли, что пора по домам.

Расходясь, почти за каждой дверью мы слышали знакомые голоса и громкие выражения чувства, впрочем, вполне уместные на государственных поминках.

Утром, когда труппа дисциплинированно пошла на выход с вещами, стало ясно, что наша ночная скорбь была действительно глубокой: женщины томно прятали лица за косынками, а мужчины стоически несли свою долю и не скрывали твердого намерения доскорбеть в автобусе.

На подъезде к Брно Сеня Розенцвейг подсел ко мне и сказал:

- Володя!.. Вы знаете, конечно, невэтомдело, но насчет скрипки я пошутил... То есть я пошутил насчет Гоги...

Я спросил:

- То есть вы хотите сказать, что не Гога вам посоветовал взять скрипку, а вы сами решили сыграть Шопена в память Леонида Ильича?

Сеня засмеялся и сказал:

- Нет, не то чтобы... Просто я, вообще-то, принес скрипку, чтобы передать ее музыкантам, понимаете?.. Чтобы отдать для перевозки...

Я сказал:

- Семен Ефимович!.. Не переживайте... Я никому не скажу. А тем более Гоге...

Семен Ефимович был осторожным человеком. Жизнь научила его тому, что осторожность не помешает. Беда в том, что он иногда путал, по какому поводу стоило проявлять осторожность, а по какому можно было обойтись и так.

Правда, он еще не встречал Иосико...

Тут Юра Изотов, заведующий радиоцехом, припав к своему приемнику, громко объявил, что новым генсеком стал Андропов, Юрий Владимирович.

- Ну, что я вам говорил? - сказал мне Розенцвейг с видом победителя, хотя на этот счет он не говорил ничего, а по поводу Андропова догадался Гога.

В Брно, за завтраком, Товстоногов подсел к столику, за которым сидели мы с Басом, и, довольно дымя сигаретой, повторил рассказ о том, какая тревожная обстановка создалась перед сдачей спектакля "Балалайкин и Ко" Салтыкова-Щедрина, который он ставил в "Современнике", как панически боялась запрещения Галя Волчек, несмотря на то, что пьеса была остроумно заказана гимнописцу Михалкову, как смотреть спектакль позвали Андропова с семьей, и именно его приход повлиял на разрешение и дальнейший прокат острого спектакля.

Георгий Александрович надеялся на потепление.

22

Брно, большой город ярко выраженного немецкого характера (его описания вы найдете в туристических справочниках), строго соблюдал похоронные правила.

На здании театра было вывешено четыре траурных полотнища от крыши до земли, а дом напротив украсился черным флагом без единой красной ленты или бантика. Зато каждую витрину украшал портрет Брежнева в траурной рамке или с черной ленточкой наискось и непременным цветком.

И все же, по случаю субботы, торговля в магазинах и с уличных прилавков шла на редкость активно, а толпа на площадях и бульварах была говорлива и нарядна. Ожидаемому всю рабочую неделю отдыху и гулянью по главным улицам с женами и детьми не могло помешать ничто, даже смерть дорогого Леонида Ильича. Одно дело - их партийное начальство, другое - обыватели городов Прага, Брно, Братислава...

Так думал Р., участвуя в броуновом движении оживленной субботней толпы и, наряду с его коллегами, тратя нетрудовые чешские денежки. В дневнике поименованы магазины "Приор" и "Сребро", а значит, в тот день он, как и все остальные, думал о своей семье - сыне от первого брака Евгении и жене Ирине; ширина их плеч, талии и бедер была всегда с ним, если и не в памяти, то на отдельном листке блокнота, надежно опущенном в левый боковой карман рыжего гэдээровского пиджака...

Завтра все магазины окажутся закрыты, и мы поедем на экскурсию, надеясь на то, что будет добрая погода и, выйдя из-за ноябрьских облаков, воссияет солнце Аустерлица, или, как его называют чехи, города Славкова, а пока Миша Волков просит прощения у Сени Розенцвейга и, в знак заключенного мира, мы в том же составе решаем продолжить вчерашние поминки...

Впрочем, в "Интеротеле" выясняется, что эта мысль пришла в головы далеко не одним нам. Брежнев умер, но дело его живет, и мы докажем это с помощью местных напитков. Посмотрите на нашего парторга Толю Пустохина: то ли он так близко к сердцу принял смерть вождя, то ли начинает брать пример со своего предшественника Жени Горюнова...

На повторных поминках наша самопальная четверка снова не зациклилась на теме всеобщей утраты, а подошла к текущему моменту если не глубже, то шире. Мы отметили преимущества русской водки перед ее славянскими аналогами типа "Выборовой" или "Сливовицы", и, несмотря на полную объективность, как "Московская", так и "Столичная" выиграли конкурс.

Что касается надежд, которые Г.А. Товстоногов возлагал на воцарение Андропова, то Сеня Розенцвейг в этот вечер их не комментировал. М.Д. Волков, известный зрителю как исполнитель главной роли советского разведчика, засланного в разведшколу абвера, в серийном фильме "Путь в "Сатурн"" и награжденный за эту роль именными часами ведомства, поддержал нашего Мэтра, а я, признаваясь вслух в своей тупости и неумении проникать в будущее, снова гнул в том направлении, что "права не дают, права берут" (реплика Нила из пьесы М. Горького "Мещане"), и дело не в перепадах нашего климата, а в том, что себе позволяет каждый конкретный театр в каждом отдельном случае...

Тут Олег Басилашвили коснулся современной ситуации в любимом МХАТе и перешел на его историю, живописав следующий эпизод.

Однажды Виталий Яковлевич Виленкин, профессор школы-студии и автор книг о Модильяни и Ахматовой, бывший до войны сотрудником литературной части театра, тот самый Виленкин, который сыграл выдающуюся роль в скромной биографии Р., преподав ему немало добрых уроков и познакомив с А.А. Ахматовой, выполняя срочное поручение Немировича-Данченко, решил сократить путь и за кулисами, во время спектакля, воткнулся с разбега в самого Станиславского.

Несмотря на то, что Виталий Яковлевич, несомненно, был театральным деятелем крупного масштаба, он обладал весьма миниатюрной комплекцией и небольшим ростом, поэтому его голова ткнулась непосредственно в живот гениального гиганта. Испытав священный ужас, Виталий Яковлевич только и смог что пролепетать:

- Простите, Константин Сергеевич, я очень спешу.

Станиславский, глядя на него с таким же ужасом и еще большим недоумением, ответил:

- Прошу вас немедленно проследовать в мой кабинет.

Покорно оставив срочное дело, Виленкин прошел вслед за гением, и тот, не откладывая в долгий ящик, принялся учить молодого сотрудника, как именно следует ходить по театру, не оскверняя его священных стен: т.е. бесшумно и на цыпочках. Константин Сергеевич тут же принялся показывать Виталию Яковлевичу, как это делается, и потребовал точного воспроизведения крылатой и бесшумной походки.

Несмотря на то, что Виталий Яковлевич действительно спешил, так как выполнял срочное поручение Владимира Ивановича Немировича-Данченко, он попытался хотя бы удовлетворительно повторить грациозные балетные скольжения

великого Учителя. Но Константин Сергеевич увлекся своим уроком, как всегда, возжаждал совершенства, и они битых два часа ходили по историческому кабинету гуськом: впереди по кругу и на цыпочках плыл огромный Станиславский, а за ним, соблюдая дистанцию и тоже на цыпочках, крался миниатюрный Виленкин...

Когда Константин Сергеевич отпустил наконец Виталия Яковлевича на покаяние к Владимиру Ивановичу, Виленкину пришлось долго объясняться и, по просьбе Немировича, показывать ему то, чему его только что гениально обучал Станиславский...

Тут мы выпили отдельно за каждого из великих основателей МХАТа, за дорогого Виталия Яковлевича и, что самое важное, за утраченное нами умение ходить по театру бесшумно и на цыпочках.

Олег был в ударе.

- Еще был случай, - сказал он, закусив, - когда Борис Ливанов встретился в туалете с молодым артистом Владленом Давыдовым. Нет, скажем по-другому: молодой Давыдов имел счастье встретиться в туалете с великим Ливановым. Они постояли рядом у своих писсуаров, и так как время, необходимое обоим, совпало, то из туалета выходили тоже вместе. И тут Борис Николаевич остановил Владлена и назидательно рассказал ему о том, что, когда он молодым артистом встречался в туалете с К.С. Станиславским, то, не в пример Давыдову, не продолжал свое малое дело, а из уважения к старшему его прекращал...

Тут мы выпили за уважение к старшим и утраченное нами умение не вовремя начатое - вовремя прекратить...

И снова взяла разгон женская тема, в результате чего обсуждению подверглось несколько театральных романов, часть которых развивалась на разных гастролях у нас на глазах.

Одному из них пытался гуманно воспрепятствовать Басик, так как этот роман мог разрушить одну из театральных семей, но героиня не захотела считаться с общественным мнением, а герой безо всякого уважения к старшинству сказал Олегу: "Мастер, не встревайте!..".

Сеня Розенцвейг слушал молча, как будто предчувствовал сюжет не саркастический и срамной, а, наоборот, совершенно лирический, с пропусками и пунктирами, который завяжется не здесь и не сейчас, а через десять месяцев и десять дней, на белом теплоходе "Хабаровск", и станет развиваться в театре "Кокурицу Гокидзё", игрушечном номере "Сателлита", в Осаке, Киото и далее, далее, далее, включая заповедные места родного Ленинграда...

Коль скоро речь зашла о МХАТе, артист Р. напомнил собравшимся случай, когда Немирович-Данченко попытался исправить ошибку в фамилии Товстоногова и уточнил: "Либо Товстоног, либо Толстоногов". Об этом Р. переспросил Мастера во время недавних польских гастролей, и тот, шлифуя легенду о своем имени, стал уточнять...

По его версии, разговор состоялся не в присутствии других студентов, а наедине, и не в Москве, а в Тбилиси... Во время войны часть мхатовцев вывезли в Куйбышев, а так называемый золотой песок, то бишь Немировича, Качалова, Тарханова - в Тбилиси. Гога упомянул сохранившуюся фотографию: Немирович смотрит его студенческий спектакль.

- Конечно, я должен был записать все, что он говорил,- делился Гога, хотя, вы знаете, многое я помню довольно хорошо... Иногда мне звонил секретарь: "У вас свободен вечер?" - "Да". - "Владимир Иванович приглашает вас побеседовать". Конечно, беседа превращалась в монолог Немировича, который я слушал, не перебивая... У него вообще был этот пункт: филологические тонкости - ударения, суффиксы... Действительно, мой дед был Толстоногов, а потом, на Украине, переделал свою фамилию... Самое интересное из того, что он говорил, вот что... Еще в сорок третьем году Немирович предсказал конец МХАТа. Представляете себе?.. Он сказал: "Войну мы выиграем, еще какое-то время театр просуществует по инерции, а затем начнет гибнуть. Останется одна чайка на занавесе... Пророческие слова... Театр может существовать только одно поколение...

- Георгий Александрович, - спросил любознательный Р., - как по-вашему, может ли сегодня возникнуть новая художественная идея?.. Именно теперь, во времена такой театральной всеядности?..

- Нет, Володя! - сказал он. - Для этого должны быть созданы условия, при которых студии возникали бы снизу, совершенно свободно! Понимаете? Возникали бы и так же свободно отмирали. Как в двадцатые годы... А сейчас что?.. "Нужны студии" - и назначают сверху... Снизу возникли Ефремов, Любимов... Сейчас есть Спесивцев... А должно быть десять спесивцевых... Вот он для укрепления репутации поставил спектакль в "Моссовете"... Кому это нужно?.. Если делаешь свой театр, не отвлекайся... Твой театр - это и есть карьера... Или Шейко... Был способный человек, мог возникнуть лидер... Его высадили на асфальт, в Александринку, дали большую зарплату, квартиру, и вот - за семь лет ничего... Важен момент сживания с коллективом... И на это уходит вся жизнь...

Прежде чем уехать в Прагу, мы должны были провести в Брно

еще полдня, и, хотя многие снова были "после вчерашнего", часть сотрудников метнулась в открытые с утра магазины, стремясь прежде всего в "Дом обуви", так как кто-то из чехов сказал, что в Праге все дороже, а обувь - особенно.

В десять утра по местному времени холл был полон праздными гастролерами, потому что здесь стоял единственный на всю гостиницу телевизор, а на курантах пробило двенадцать, и началась трансляция с места события, то есть с Красной площади.

Тело Брежнева к Кремлевской стене подвезли на пушечном лафете и установили на специальной подставке для последнего прощания...

Входившие с улицы невольно задерживались и, не успев разгрузиться, застревали перед экраном, чтобы посмотреть церемонию.

Алексей Николаевич Быстров, главный машинист нашей сцены, мгновенно осознав трагизм текущего момента, замер по стойке смирно, держа под мышкой большую коробку, в которой не могло быть ничего другого, кроме женских сапог.

Алексей Николаевич - невысокий, крепенький, в сильных круглых очках - был человек славный и даже трогательный. Дочь его, для которой он купил сапоги, тоже работала у нас - костюмершей и, как многие молодые сотрудницы театра, мечтала о сцене, но в поездку не попала, и было приятно, что Алексей Николаевич успел позаботиться о ней.

За год до чешской поездки, на гастролях в Буэнос-Айресе у него неожиданно случился сердечный приступ, и, оклемавшись, он покорил нас рассказом о том, как в машине "скорой помощи" к нему склонились аргентинские медсестры и стали нежно гладить по лицу и напевать светлые мелодии, и тут ему почудилось, будто это не медицинские сестры, а добрые ангелы встречают его на небе. Потом, уже в больнице, число сестер увеличилось, лица их стали еще красивее, а пенье нежней, и они, не давая ему шевельнуть рукой, раздели Алексея Николаевича догола, так что сначала ему стало несколько стыдно, а потом - уже нет. Сестры-ангелы стали обмывать его тело теплой водой, и все с песнями и улыбками, и одна их неслыханная ласка примирила его с сердечной болью и тревогой о том, как проживут без него жена и дочь. И хотя сестры не понимали нашего языка и пели Алексею Николаевичу скорее всего по-испански, он все повторял и повторял им то, что успел сказать Роме Белобородову, заместителю директора: живым или мертвым, он просил вернуть его домой и похоронить в России...

К счастью, сестры-ангелы и аргентинские врачи спасли Алексея Николаевича Быстрова, он выздоровел и даже поехал в

новые гастроли, оказавшись в городе Брно как раз в то самое время, когда на Красной площади в Москве хоронили Леонида Ильича Брежнева.

И мне показалось, что Алексей Николаевич встал по стойке смирно не только потому, что сильно уважал Генерального секретаря, но и оттого, что недавно сам успел прочувствовать зыбкую грань между жизнью и смертью и всесильную неотвратимость человеческого ухода.

Все-таки самое трудное мгновение на любых похоронах - это когда покойника целуют родные. Так вышло и с Леонидом Ильичом и его семейством. Теперь для жены, дочери и всех остальных начиналась другая жизнь.

Могильщики в черных чистых бушлатах слишком волновались, и то ли гроб оказался великоват по отношению к отмеренной могиле, то ли сам Леонид Ильич не хотел уходить в землю, но что-то застопорилось, и он на мгновение будто завис. А потом вдруг резко опустился, как будто его не смогли удержать, и гроб вместе с Генсеком канул в яму...

Стены холла в гостинице были стеклянные, и было хорошо видно, как на улице, позади телевизора, пожилой рабочий, очевидно, дворник, полный и седой человек, принялся вынимать из бачка большие темные пакеты и один за другим грузить их на тачку...

Тут черная шторка скрыла от нас московскую трансляцию, и мы пошли по номерам, чтобы взять чемоданы и погрузиться в автобус.

Впереди была Прага, давняя печаль и золотая память.

В Праге я нашел и потерял Ольгу Евреинову, пленную лебедь балетной страны, гордую длинноногую птицу. Вернее, она меня нашла, а я ее потерял. В шестьдесят восьмом году нас разлучили моя непроходимая тупость и вездеходные танки, которые бросил на Прагу покойный Леонид Ильич.

Я узна'ю об Ольге немногое, и то через год, когда мы поплывем в Японию на теплоходе "Хабаровск" и мне расскажут о ней Нина и Люда, прекрасные попутчицы из Большого Балета...

Когда автобус тронулся, Семен Ефимович Розенцвейг, сидя рядом со мной, философски и нараспев сказал:

- Да, Володя!.. Сегодня, пятнадцатого ноября 1982 года, я должен вам сказать, что, на мой взгляд, особых перемен не предвидится. Конечно, невэтомдело, но мне кажется, что наш Гога надеется напрасно...

- Вы сказали - пятнадцатого ноября? - переспросил я. - Это интересно... Пятнадцатого ноября, двадцать лет назад, я сошел с поезда на Московском вокзале и почапал пешком в БДТ...

- Что вы говорите! - воскликнул Розенцвейг. - Уже двадцать лет?.. Как быстро летит время!.. Конечно, невэтомдело, но в Праге, Володя, с вас причитается...

Он был глубоко прав, в Праге с меня причиталось.

23

В Токио с меня тоже причиталось: мои ташкентские устремления поддержал Товстоногов, и я мог катиться колбаской туда, откуда явился...

Равным образом с меня причиталось и в Ташкенте, где я по праву считался своим.

И в Ленинграде с меня причиталось каждый раз, когда кто-нибудь приезжал из Ташкента и любого другого города, где с меня причиталось. А так как я гастролировал во многих городах, не только с театром, но и сам по себе, представляете, сколько с меня причиталось в Ленинграде?!

И если иметь в виду, что в Ташкенте я оказался в результате войны и эвакуации, а родился, как все приличные люди, в Одессе, само собой разумеется, что с меня причиталось и в Одессе.

Более того, вы будете смеяться, но в Буэнос-Айресе с меня тоже причиталось.

Однажды, в ответ на мои генеалогические вопросы, младшая сестра отца, то есть тетушка, прислала мне чудом сохранившуюся анкету покойного деда, в которой он честно указывал, что в 1906 году со всей семьей эмигрировал в Аргентину. Правда, в 1908 году он через Польшу вернулся в Одессу, но семья его во время эмиграции прибавилась на одного человечка, и прибавочным человечком оказался мой отец. Я могу об этом смело говорить, потому что всю жизнь дата рождения отца была окружена в его семье плотным туманом, настолько плотным, что и дед, и бабушка начинали волноваться, когда при них заходила речь о дате рождения отца. И вот после их смерти старая анкета приподняла завесу, и путем простых умозаключений я пришел к выводу, что мой отец родился не в 1908 году в городе Одессе, как ему записали в метриках, а в 1907 году "в далекой знойной Аргентине, где женщины, как на картине", и так далее, в соответствии с текстом известного танго...

И волновались родные моего отца вовсе не напрасно, потому что к 1924 году, когда отцу пришло время получать паспорт, умер дедушка Ленин, а над его гробом произнес свою страшную клятву дядюшка Сталин, и мои бабушка и дедушка догадались, что нас всех ждет впереди. Ну чего мог ожидать от жизни советский человек, в чьей анкете, как кость в горле, торчало бы: место рождения Буэнос-Айрес, Аргентина?

А когда я рассказал эту историю моему отцу, он сначала очень удивился, а, изучив дедову анкету, страшно разволновался, поняв, что всю кристально честную жизнь вводил в заблуждение

товарищей по партии и отделы кадров разных республиканских министерств, невольно скрывая капиталистическое место своего эмигрантского рождения.

Теперь можете себе вообразить, насколько с меня причиталось в Буэнос-Айресе, когда я в составе труппы Большого драматического прибыл на место рождения моего дорогого отца...

Отметим кстати, что вопрос о смещенных датах и местах рождения крайне интересен не только в случае артиста Р., но и во многих других случаях, и автор до сих пор тщетно пытается прояснить, где же и когда все-таки родился другой герой гастрольного повествования, выдающийся советский режиссер Г.А. Товстоногов, семидесятилетний юбилей которого, по официальной версии, падал на сентябрь 1983 года и совпадал с его пребыванием в Японии, а согласно другим источникам, должен был быть смещен на два года вперед, и, соответственно, менял свою географию.

Теперь, как вы понимаете, в городе Осака причиталось уже со всех нас, а также с советского правительства и посольства в Японии, не говоря уже о горящей синим пламенем фирме г. Ешитери Окава...

Вообще же, если бы автор стал перечислять города, в которых причиталось нам или с нас, и хотя бы вкратце привел основные причины по каждому городу, он не имел бы надежды добраться до финала. Что уж тут говорить о времени, необходимом для практического воплощения принципа "с вас (с нас) причитается"...

Так, следуя логике и шаг за шагом, мы вместе с читателями подошли к важнейшему выводу о том, что вопросы где, когда и с кого именно причитается и есть главные философские вопросы на рубеже двух тысячелетий. И, как всегда, они идут из России, приобретая всеобщее и мировое значение.

И все же следует подчеркнуть, что, по выношенному мнению артиста Р., с которым в данном случае полностью солидаризируется автор, на этой земле нет места, в котором не причиталось бы с каждого из нас, хотя бы потому, что быть живым и посещать разные места - великое счастье. Поэтому, с точки зрения порядочного гастролера, всегда и везде причитается с каждого, у кого есть, а жмоты и жлобы не идут в благородный счет, и их в историю пускать не надо...

Да, чуть не забыл... До сих пор жалею, что во время наших гастролей в Буэнос-Айресе ни я, ни мои спутники, включая заведующего отделом торговли обкома КПСС, руководителя нашей поездки Букина и сопровождающих лиц из КГБ, не знали о хитроумной проделке дедушки, скрывшего от партии и государства место рождения моего отца, потому что именно в

Аргентине и ее столице Буэнос-Айресе я бы наилегчайшим образом справился с обязанностями поставить товарищам выпивку (лично для меня в этом действии и заключается живое соответствие принципу "с меня причитается"), и вот почему.

Не успели мы ступить на интуитивно близкую мне почву, а дорога, повторюсь, была чрезвычайно долга и утомительна: Ленинград - Москва - Франкфурт-на-Майне - Лиссабон - Сантьяго - Гавана - Лима - Буэнос-Айрес, - как Миша Данилов (случайно) и разведгруппа "санитаров Европы" (намеренно) совершили одно за другим два оглушительных открытия.

Данилов с ходу напоролся на супермаркет рядом с гостиницей, в котором по баснословно дешевой цене продавалось великолепное баночное пиво. На специальной и не вдруг различаемой нижней полке неистребимыми полчищами стояли так или иначе примятые банки, которые стоили в пять или семь раз дешевле непримятых, так как справедливо считались бракованными. Но, как не менее справедливо заметил народный артист Всеволод Кузнецов, в помятой банке было ровно столько же пива, сколько и в неиспорченной, если, разумеется, умело к ней подойти и вскрывать с нежностью. При нашей бедности требовать товарного вида от глупых жестянок было еще более глупо.

Но не успел непьющий Данилов посвятить свое открытие разрешающему себе Кузнецову, как "музыкальный обоз" - Володя Горбенко, Сеня Галкин, Юра Смирнов и Коля Рыбаков - обнаружил в близлежащей аптеке под вывеской "Формация" чистейший медицинский 96-градусный питьевой спирт по еще более провокативной цене - одна условная единица за один литр. Более того, разведка боем обнаружила тот же спирт и по той же издевательски дешевой цене во всех окрестных "Формациях", которые были тут же вычислены и нанесены на карту местности.

Наши музыканты не стали таить своего чудесного открытия от коллектива, и то ли Валя Караваев, то ли Женя Чудаков, подражая закадровому голосу Ефима Копеляна в фильме "Семнадцать мгновений весны", официально произнес:

- "Формация" к размышлению...

Образ был подхвачен, стал естественным путем развиваться, и вскоре коллеги уже привычно предлагали друг другу сбегать на угол за свежей "информацией". Дело кончилось тем, что во всех близлежащих аргентинских аптеках резко упали спиртовые запасы, а некоторых наших артистов стали в них узнавать, как настоящих "звезд". И Женя Чудаков сказал:

- Пора уезжать, а то от избытка чужой "информации" красная труппа сильно посинела...

Разумеется, он шутил, и в шутке было сильное преувеличение, но вообразите себе, читатель, жизнь простых советских артистов далеко от Родины, под дамокловым мечом реакционной аргентинской военной хунты и бдительным приглядом завторготделом обкома Букина, в условиях умопомрачительного сочетания вызывающе дешевого спирта с почти дармовым баночным пивом.

Конечно, основной удар благородно приняла на себя партийная организация во главе с Толиком Пустохиным, грудью закрывая вражескую амбразуру.

Получив щедрую подпитку от латиноамериканской действительности, народный юмор продолжал расцветать. Не мог не тронуть, например, до боли близкий аргентинский обычай сдавать бутылки и, получая взамен жетоны, возвращать денежки через кассу; так, отель "Савой", в котором нас разместили рядом с "бутылочным" супермаркетом, довольно старый и, как сказали бы в Одессе, задрипанный, приобрел у нас название "Савой в доску".

А еще по пути в Аргентину, когда, преодолевая тяготы полета, ребята "взяли на грудь" в братской социалистической Гаване, и на пересадке в Лиме (Перу) у некоторых возникли ощущения чугуна в голове, Миша Данилов, оглядев перуанский пейзаж и его печальных фигурантов, с высоты своей вынужденной трезвости выразительно, как драматург А.Н. Островский, произнес:

- В чужом Перу похмелье...

Но вот что особенно интересно, и что артист Р. сумел глубоко оценить только постфактум: оказалось, что глава фирмы "Даефа", вывезший нас в Буэнос-Айрес, мощный сангвиник Давид, и его могучая вторая жена Неля - самые настоящие одесситы, так же, как и мой дед, эмигрировавшие в Аргентину, но, в отличие от него, не собиравшиеся возвращаться...

Мы появились в Буэносе в дни майских календ 1981 года, и как порядочные одесситы и советские, в прошлом, люди Додик и Неля сразу догадались, что с них причитается.

Тут и был устроен праздничный выезд на катамаране по протоку Параны до виллы "Богемский лес", на которую были приглашены не только наша большая семья, но и директор театра "Сан-Мартин", где мы выступали, и советский посол в Аргентине, и его советники с семьями, и сотрудники продюсерской фирмы "Даефа", включая "мозговой трест" - завотделом Леви и главу финансовой службы Соломона, тоже, разумеется, с семьями. Маевка вышла прекрасная, и ее описание достойно более высокого пера, чем то, каким располагает автор, хотя в нем все еще сильно искушение вернуться на виллу в прямом и

переносном смысле. Скажем лишь то, что главным действующим лицом маевки стала знаменитая аргентинская "осада", ради которой был зарезан жертвенный бык. Дело в том, что, беря пример со знаменитого американского импрессарио Сола Юрока и пропагандируя советское искусство, фирма "Даефа" по совместительству торговала аргентинским мясом, и большой бык был для нее небольшой проблемой.

Гигантские куски мяса медленно переворачивались над жаровней, доспевая, шипели только что изготовленные могучие колбасы, столы были уставлены бутылями веселого аргентинского вина и несметным количеством дразнящих ноздри приправ. До сигнала к атаке приходилось еще подождать, и, гуляя по вилле, гастролеры стали сшибать с больших орешин молодые плоды и, очищая их от кожуры, лакомиться в предвкушении "осады".

Некоторые сказали, что мяса все-таки многовато, и надо было не стесняться, а захватить с собой пиво и спирт. Нашлись и те, которые сделали это. А когда всех пригласили к столам, стоящим на пленэре большой буквою П, один из наших прославленных едоков сказал:

- Этого нам, по-моему, не сожрать!..

На что Женя Чудаков со свойственной ему находчивостью ответил:

- Нет такой "осады", которую бы не выдержали русские артисты.

И, по-моему, он оказался прав.

И здесь автор, состоящий на треть из артиста Р., на треть из его дурацкого альтер эго и на треть - из кустарного литератора, задал себе следующий вопрос: какое отношение к путешествию в Японию имеет путешествие в Аргентину, а тем более - в Чехословакию? И тут же догадался, что для нашего человека нашего времени, каким и является автор (т.е. артист Р., его альте'р и доморощенный литерате'р), всякая загранка есть нечто экзотическое, а квинтэссенцией этого нечто является, конечно, Япония. Поэтому и Аргентина, и Чехословакия воодушевляли нашего автора содержащейся в них частицей Японии. И сегодня, оглядываясь назад, он может сказать, что Аргентина обнаруживает в себе три с половиной - четыре процента Японии, а Чехословакия ноль семь - ноль девять ее же процента.

Развивая мысль, в сопровождении водки завода "Ливиз" и в компании достойных собеседников, он пришел к окончательному выводу о том, что посюсторонний мир делится, в сущности, всего на две любимые страны, во-первых, материковую Россию и, во-вторых, островную Японию...

В драматические артисты Чудаков попал непростым путем.

Родился он в Донбассе, в потомственной шахтерской семье, прописанной в городе Артемово, и хотя мама его обладала абсолютным слухом и замечательно пела в стоящих случаях, она была просто поражена, услышав, что сын собирается поступать не куда-нибудь, а именно в культпросветучилище. А двинуть именно в это училище Женьку накрутили две заезжие девицы, строя ему глазки и обещая культурные и просветительские радости немедленно после поступления. В Артемово девицы залетели по невнятному поводу из самого Питера, так что их встречу с Женей в какой-то степени можно считать знаком судьбы.

- Куда, - чистым голосом спросила его добрая мама, - куда, с таким аттестатом? - И действительно, в аттестате Жени Чудакова сиротливо терялись две четверки, остальные отметки были сплошь неказистее. - И чему вас там выучат?

- Мы будем артистами, режиссерами, - самоуверенно отвечал Женька.

Мать еще раз с сомнением всмотрелась в его юное открытое шахтерское лицо и дала ценный совет:

- Ну, пробуй... Только ты там, сынок, постарайся, похлопочи мордой, может, тогда и примут...

Училище Женя закончил не хуже других и, получив диплом "Руководителя самодеятельности сельских клубов", поехал по распределению на Брянщину.

Увидев полноценный диплом и самого Чудакова, директор сельского Дома культуры, бывший армейский старшина, сильно обрадовался и сказал:

- Ну, земеля, давай, принимай хозяйство!

И хотя, как выяснилось, земляками они вовсе не были, Женя послушно подписал все бумаги, которые ему подсунул торопящийся директор.

Сдав ДК, старшина, не откладывая, уехал в Сибирь.

Через несколько дней во двор Дома культуры заехала полуторка, и двое блондинов с сильным белорусским акцентом сказали Жене:

- Ну, так мы забярем ту жесть, - и показали руками в верном направлении: посреди двора штабелем лежала новенькая листовая жесть, приготовленная для капитального ремонта ржавой крыши.

- То есть как? - спросил удивленный Женя.

- А так! - ответили ребята. - Мы ж договорились с тем дяректором!.. - И, споро побросав красивые серебрящиеся листы в полуторку, укатили с концами.

Еще через несколько дней появился невзрачный ревизор,

прочел подписанные Женей бумаги и, обнаружив отсутствие жести на дворе, подал материал в прокуратуру.

И вот тут, в ожидании судебного крушения своей культурно-просветительской карьеры, Женя почувствовал, как в его жизнь снова вмешались высокие силы судьбы, потому что вместе с повесткой в прокуратуру на его шахтерскую голову белым голубком опустилась другая повестка - в районный военкомат.

Обе повестки были самыми типичными и по форме простыми, а вот длинный майор из военкомата, озабоченный очередным призывом в Советскую Армию, оказался человеком неординарным и взялся это доказать.

Выслушав Женину историю и разглядывая обе бумажки, он сказал:

- А ну, пиши на имя Дома культуры заявление об уходе!

Женя написал, но клубные работники заявления не приняли, потому что, на их взгляд, уж больно он хорошо смотрелся в роли козла отпущения.

Тогда длинный майор лично приехал в ДК и рявкнул:

- Я вас тут всех посажу, если за два дня не дадите Чудакову расчета!

Через два дня Жене исполнилось 19 лет, он получил расчет в Доме культуры и превратился в полноценную боевую единицу стоящей на страже мира Советской Армии.

Между тем, обиженная прокуратура Брянской области, не отступив от своего долга, разыскала в Сибири скрывшегося творца жестяного гешефта, знакомого нам старшину, вызвала его в Белоруссию, отдала под суд и отправила обратно в Сибирь отбывать семь лет за растрату...

Пока сержант сидел, Женя, полный сочувствия к неудачнику, успел отслужить в армии, окончил Ленинградский театральный институт и как ученик Евгения Лебедева был принят в БДТ, где трудится и поныне вместе со своей однокурсницей и женой Галей Яковлевой...

И вот что особенно интересно в контексте нашего повествования: оказалось, что именно Женя Чудаков был первоначально представлен Г.А. Товстоногову заведующей костюмерным цехом Таней Рудановой в качестве вероятного кандидата на замену Гриши Гая в спектакле "Амадей". Потому что по своей комплекции Женя подходил к Гришиному сиреневому камзолу куда больше, нежели артист Р.

Но, оценив Танино предложение, Гога спросил:

- Императорский библиотекарь из Донбасса?! - и поднял брови.

И вот тут-то, в связи с библиотечным характером Гришиной

роли в "Амадее", Мэтр вспомнил артиста Р., тоже прослывшего книгочеем, и назначил кандидатом именно его; тут-то и была устроена безрезультатная примерка сиреневого костюма, с которой начался наш небезупречный рассказ.

Когда грузились в автобус со всеми приобретенными в Токио пожитками, и Р. позже других появился в салоне с большой японской коробкой, затянутой скотчем, в натруженных руках, Женя, кивая на коробку, ласково спросил:

- Воля, это ты все здесь написал?

И Р. вместе со своей коробкой упал бы от хохота, если бы в набитом автобусе было куда упасть.

Смеялись все, и смеялись от души, потому что успели удачно угнездить в салоне новые японские пожитки, потому что весело было нам, не знающим своего будущего. С каждого причиталось за удачу.

Надеясь на благосклонность Фудзиямы, мы ехали в Осаку, навстречу новым успехам, и семидесятилетнему юбилею нашего Мэтра.

Там и с него причиталось.

А Гриша Гай маялся в больнице...

24

В Праге с меня причиталось, как нигде.

В марте 1968 года Большой драматический гастролировал в Праге. Мы имели успех, восторгались спектаклями Крейчи, братались с его актерами и завидовали новой свободе - знаменитой "пражской весне". В неосмотрительных обсуждениях мы хвалили Дубчека, чешскую модель социализма и выражали надежды на что-либо подобное у нас. После забытой "оттепели" пора было наступить и нашему "лету".

В первом спектакле я занят не был, и, вернувшись в гостиницу, Басилашвили, Волков, а потом Заблудовский и Розенцвейг сообщили мне, что какая-то красивая пражанка передавала мне привет и обещала прийти назавтра.

- Красивая? - переспросил я Олега, зная его склонность к преувеличениям и розыгрышам.

- Да, - сказал он и посмотрел на Мишу.

- Можешь не сомневаться, - подтвердил Волков, и по его сухому тону я понял, что сообщение имеет под собой реальную почву. С точки зрения Волкова, все красивые женщины должны были спрашивать только о нем.

Розенцвейг добавил:

- Конечно, невэтомдело, но девушка очень высокая... Может быть, даже капельку выше вас...

- Ноги - от самой шеи, - пояснил Изиль Заблудовский, - так что имей в виду...

На следующий день, когда отшумели бурные аплодисменты после "Мещан", за кулисами появилась высокая молодая женщина и молча подала мне руку. На ее губах была живая улыбка, читавшаяся как легкий вызов или намек. Рассиявшись в ответ, я сначала пожал узкую ладонь, а потом и поцеловал длинную, изящную, гибкую руку.

- Здравствуйте, Владимир, - медленно произнесла она.

У нее была балетная стать и необычное лицо, умное и независимое. Девушка молчала, продолжая испытующе улыбаться и не отнимая у меня руки. Пауза затянулась, но я об этом не жалел. Мне показалось, что она зашла поздравить меня с актерским успехом, но, к счастью, ошибся.

Наконец она отняла руку и сказала:

- Меня зовут Ольга... Вы не помните меня?

Я почувствовал себя дураком и сказал:

- Да, конечно... Кажется, вспоминаю...

Она засмеялась.

- Вы меня не узнали!..

Она так нравилась мне, что я боялся спугнуть ее ложью.

- По правде говоря, еще нет.

Она постаралась мне помочь:

- Меня зовут Ольга Евреинова... Я училась в Вагановском, и однажды мы встретились с вами на площади Ломоносова... Нас было много, а вы шли из театра один...

Мне стало жарко, и я сказал:

- Господи! Быть этого не может... Так это вы... оглянулись?

- Да, да! - сказала она и снова рассмеялась.

- Ольга, - сказал я и повторил: - Ольга...

Любопытные коллеги и костюмеры с гримерами поглядывали на нас.

- Может быть, вы подождете меня? - спросил я.

- Конечно, - сказала она. - Зачем же я здесь?

И я пошел переодеваться.

Я забыл, по какой причине день, который напомнила мне высокая гостья, казался совершенно счастливым с самого начала. Может быть, настроение диктовала светлейшая погода, а может, репетиция удалась, приманив новую веселость; в те поры, помнится, я был еще совершенно беспечен.

Я только что вышел из театра, и город, приподнятый солнцем, мгновенно отобрал у меня остаточные заботы. Я снова сказал себе, какая это радость каждый поворот и оббитый угол, и наша простецкая проходная, и залатанный асфальт на Фонтанке, и бликующая вода, и щелястое дерево перехода на левый берег, и оставленный без внимания, но имеющийся в виду переулок Лестока, и чистый рисунок гранитных башен Чернышова моста, и его тяжелые цепи, скованные для красоты, а не ради плена и тягот...

Я дошагал до "ватрушки" - так в просторечье зовется площадь Ломоносова за то, что кругла и украшена круглой травяной клумбой, с постаментом и бюстом по центру и круговым зеленым газоном, по которому рассажены липы и прорезаны дорожки для пешеходов на все четыре стороны света, - и пошел наискось через дорогу, держа на бюст Михайлы Васильевича, чтобы, миновав Зодчего Росси, кратчайшим путем выйти на Невский...

И тут навстречу мне появилась стайка старшеклассниц-"вагановок", уже танцовщиц, но еще девчонок, смешливых, легконогих, быстрых, выделенных из нашего тусклого племени своей новоявленной породой - выворотной, но еще не натруженной стопой, узкими бедрами, твердыми плечиками и горделивой шеей.

Солнце светилось у них в глазах, и голоса сливались в птичий

хор. Девчонки плыли мне навстречу, поражая родственным единством и совершенной избранностью каждого стебелька в летнем букете. Их разноцветные юбочки были совсем коротки, а ноги сильны и стройны, облитые завороженным солнцем.

Господи, как они ходят, готовые взлететь и закружиться, как разворачивают маленькие жесткие ступни, как выразительно, одной своей издали узнаваемой походкой взывают к мужской поддержке и немедленной защите! Всю жизнь меня охватывает безумная нежность при одном взгляде на женщину-птицу. А тут - целая стая!.. Их все еще держала вместе дисциплина общего станка и недавнего урока, но они уже были готовы рассыпаться навстречу судьбе и украсить собой скучающие подмостки. Навстречу мне двигался сгусток юной энергии и невозможной любви, а может быть, это была сама жизнь в предельной готовности превратиться в искусство...

Стайка прошла справа от меня, обдав волной такой невозможной радости, что я засмеялся над собою.

Нет, нет, я не остановился, это было бы нахально и глупо; я продолжал намеренное движение, чувствуя уже за спиной их слитное сияние, и, сделав еще несколько шагов, не выдержал и обернулся...

Девочки-танцовщицы удалялись, щебеча и полыхая на солнце. Но одна из них, самая высокая из группы, оглянулась в одно мгновение со мной, и мы вместе - я и она - смеясь и отступая, подняли правые руки и помахали друг другу на прощанье...

Честное слово, я даже не приостановился, встреча была мгновенна, а разлука необратима. Я даже не успел разглядеть ее лица. Но этот день, не помнящий летней даты, и оглядка на ходу, и невольно вскинутые руки - как вспышка и озарение, - так надежно остались со мной, что спустя несколько лет в ней не было и тени сомненья: стоит только подойти и напомнить мне случайную встречу и невольную оглядку - и я заволнуюсь и растеряюсь.

Так и случилось. Когда гостья сказала: "Нас было много, а вы шли из театра один", я узнал скорее тот день, чем ее самое, соединение двух картинок, давней и нынешней, смертельным дуплетом ударило в меня, праздничное предзнаменование вернулось, и я задохнулся.

У нас было много знакомых адресов за спиной: набережная Фонтанки с моим театром, который она хорошо знала, их классы на Зодчего Росси и общежитие на улице Правды, куда они направлялись по Чернышову мосту через Пять углов; с нами был весь оставшийся позади Ленинград, и то, что случилось с каждым

поврозь - со мной в середине шестидесятых и с ней за первые взрослые годы, и вся предстоящая Прага...

В марте 1968 года, в солнцеволосой Праге, я забыл гастрольную дисциплину и не стал никому докладывать о ежедневных отлучках. Конечно, "кураторы" знали о них, но, честное слово, в те дни я не помнил о здравом смысле.

При одном взгляде на Ольгу было ясно, что она не станет входить в мое пленное положение. Спектакль?.. Да, это она понимала. Но до и после - наше время. Сам пражский воздух веял свободой и радостью, и наши бесконечные гулянья не знали мер и запретов.

Иногда и ее отвлекала работа - Пражский Театр оперы и балета, - и по каким-то неявным приметам я понял, что она успела пережить первые разочарования...

В гостинице ее узнавали или считали нашей, и никто ни разу не посмел спрашивать у нее пропуск.

Как-то мы оказались на улочке без неба: над нами громоздились строительные леса в несколько этажей. Дощатый тротуар под дощатой крышей напрягся, стало темно и трудно дышать.

Ольга сказала:

- Кажется, впереди глухие ворота... Давай вернемся...

Но, почувствовав чью-то уверенную подсказку, я не согласился с ней:

- Этого не может быть... Через пятьдесят шагов будет выход, - сказал я.

Мы пошли вперед, считая шаги, и, когда досчитали до пятидесяти, небо открылось и мы оказались на площади перед Кампой.

И всякий раз, как ни безоглядно мы уходили в любом направлении и каким лабиринтом ни казались мне старые кварталы, выход открывался сам собою, и мы оказывались в исходной точке - Карлов Мост и площадь перед Кампой.

Любая случайность казалась чудом.

- Видишь, круг замкнулся, - сказала Ольга, - я - кошка из твоего замкнутого круга...

Рильке она знала лучше, чем я; Цветаева была для нее пражанкой, но об Ахматовой она переспрашивала меня.

Мы целовались с открытыми глазами, целовались снова и снова, и мне казалось, что она целует лучше всех, кого я успел узнать...

Я и сегодня готов поклясться, что пражская архитектура рождена настоящей любовью для настоящей любви...

Однажды она сказала, что со мной хотят познакомиться

родители, и я не отказался от встречи. Я не мог ей ни в чем отказать.

Отец, мать и бабушка Ольги эмигрировали из Петербурга давно, кажется, сначала в Париж, но теперь не представляли жизни вне Праги.

покойный писатель и деятель русского театра Н.Н. Евреинов был каким-то дальним родственником моей героини. С того званого обеда прошло много лет, однако я хорошо помню, что их родство с Николаем Николаевичем за пражским столом упоминалось. Этот человек написал книги "Театр как таковой", "Театр для себя", "Происхождение драмы", пьесы "Красивый деспот", "Такая женщина", "Самое главное" и книги по истории русского театра. По мнению нашей "Театральной энциклопедии" издания 1963 года, Николай Николаевич "отстаивал субъективно-идеалистический взгляд на искусство" и "утверждал, что творчество служит потребностям самовыявления", а "жизнь - непрерывный театр для себя...".

- О, как вы правы, Николай Николаевич, - сказал бы я ему на званом обеде, но его там не было, а в его книги я заглянул гораздо поздней.

В начале века Евреинову удалось создать свой "Старинный театр", но, сообразив, к чему идет Россия, он еще в 20-х годах отбыл во Францию и предпочел следить за нашими театральными событьями издали.

Родившийся в 1879-м, дедушка Евреинов умер в том же году, что и Сталин, успев передать родственникам не только свои представления о сцене, но и стойкое предубеждение против коммунистов и советского образа жизни.

Когда Ольга подросла и стала проявлять интерес и способности к танцу, семья вспомнила русскую родину и решила послать свою надежду в Вагановскую школу. Это был, очевидно, политический компромисс, но в профессиональном отношении игра стоила свеч.

Разговор за семейным столом оказался не так свободен, как того хотелось Ольге. Отца и мать волновали, как я понял, мои беспечные и соглашательские отношения с той властью, которую представлял мой театр, а бабушка все порывалась прояснить, откуда взялась моя загадочная фамилия, ввиду чего я подумал, что евреи вообще и Евреиновы в частности все-таки не одно и то же...

О том, что я женат, а мой сын поступил в школу, им, видимо, заранее сказала Ольга, приведя родных в замешательство, от которого они так и не избавились.

Несмотря на азиатскую толстокожесть, я сообразил, какой

смысл могло иметь мое представление семье. И по тому, что я на него решился, нетрудно догадаться как о степени моей безумной безответственности, так и о высоте накатившего чувства.

Выйдя из родительского дома, я сказал Ольге:

- Знаешь, все-таки я здесь чужак... Чужак и иностранец.

- Только не для меня, - сказала она, и мы вновь забыли всех своих и вновь обнялись, говоря Бог знает что и сходя с ума друг от друга.

И все же я был смел только в поцелуях. Может быть, я потому и был так отважен, что между нами оставалась последняя граница...

Однажды Зина Шарко, не раз восполнявшая мою дырявую память, привела наш давний гастрольный диалог:

- Ну что, блядун? - спросила она в упор, имея в виду мои долгие и опрометчивые танцы с одной прекрасной румынкой.

И я ответил ей, используя литературный прием, называемый ассонансом:

- Я - не блядун, я влюблен...

Вот, оказывается, какие обмены репликами случаются в гастролях.

- Спасибо, Зина,- поблагодарил я коллегу за лестное воспоминание,- ты возвращаешь мне самого себя в другом измерении...

Я привел не относящийся к делу эпизод всего лишь как факт, а не попытку оправдания. Оправдания мне нет и быть не может, хотя бы потому...

Впрочем, пока сюжет не исчерпан, не имеет смысла его обгонять...

Но тема взаимоотношений моих героев с женщинами так соблазнительна!

Недавно родная сестра Г.А. Товстоногова, Нателла Александровна, в газетном интервью назвала нашего покойного Мэтра "бабником", и во мне возникло глубокое несогласие с ней. Я уверен, что и в Нателле возникло бы точно такое же несогласие со мной, попытайся я в одном слове определить этот сложнейший образ.

Всякий художник тоскует по красоте, гармонии и героине до последней черты. А большой художник - тем более. Именно на фоне высокой тоски по идеалу следует рассматривать его лирические сюжеты. Причем каждый в отдельности и всегда на фоне историко-географических обстоятельств, а не в безвоздушном пространстве или романтической невесомости.

И ни в коем случае не надо обобщать: "блядун", "бабник". Тем более женщинам.

Вот, например, Александр Блок и певица Мариинского театра Любовь Дельмас.

А вот Георгий Товстоногов и актриса Л...

Или актриса К...

Или актриса Ш...

Но довольно! Довольно, иначе я не завершу собственного сюжета.

В марте 1968 года театру предстояло сняться с места, сыграть свои спектакли в Братиславе, которую я в тот раз почти не запомнил, и, прежде чем уехать в Союз, снова оказаться в Праге.

То, на что мы с Ольгой надеялись и чего боялись, должно было случиться перед расставанием.

Но здесь язык мой лукавит, и я оставляю уловку текста как улику против автора.

Ольга не боялась ничего. Это я до последнего дня, очевидно, боялся, зная, что еще шаг - и отступать будет некуда.

Но лишь до последнего дня...

9 марта 1968 года страхи ушли, и в сюжет вмешались обстоятельства.

- Здравствуй, - сказал я, вернувшись, Праге и ее героине, и, одобряя мою решимость, Ольга прижалась ко мне.

- Пойдем, - сказал я, и она не спросила, куда.

Мы шли прямиком в мое временное пристанище, старинную гостиницу на Вацлавской площади, снятую для театра на последние сутки. Взявшись за руки, мы шли навстречу самой любви, два молодых человека, свободная балетная лебедь и драматический артемон, и я безумно гордился дивной подругой и внутренней свободой, которую наконец обрел наперекор упорному воспитанию. Подходя к парадному входу, я был уверен, что ступаю на порог новой жизни, и не ожидал от судьбы ни малейших препятствий.

Но, вопреки предположениям, нас остановил швейцар с квадратной мордой и пошлейшими галунами и, повертев мой одинокий пропуск, показал, что я войти могу, а гостья - нет.

- В чем дело?.. Что такое?! - захорохорился я, и этот тип, глядя на Ольгу с наглой ухмылкой, сказал, что у него есть указание никаких гостей к нам не пускать.

- Минуту, - твердо сказал я Ольге и, пытаясь сыграть роль безупречного джентльмена, навеянную моему воображению артистом МХАТа Анатолием Кторовым, пошел к стойке администратора.

Но и этот был в глупой форме, и этот, гнусно улыбаясь, вежливо повторил шокирующий отказ...

Скандалить было глупо.

- Черт с ним, - сказала Ольга, когда я в растерянности вернулся к ней. Черт с ними. Пойдем отсюда.

И мы ушли в Прагу.

С нами был Бог.

Читатель, не переживший наших времен, должен понять, что мужчина, которым по некоторым признакам мог себя считать артист Р., вовсе не походил как на джентльменов, сыгранных Кторовым, так и на героев Ремарка и Хемингуэя, открывающих левой ногой любую дверь. И беда его была в том, что он не имел ни денег, ни опыта - давать швейцарам на чай. Он был воспитан Родиной и родителями в благородном социалистическом отвращении к взяткам и поборам.

А главное - теперь это хорошо заметно, - он был привычно и неосознанно нищ, не имея в кармане или кошельке хотя бы минимальных валютных резервов. По-моему, у него и кошелька-то не было, не говоря уже о плотном кожаном бумажнике, который даже во времена зрелого социализма помог бы ему решить возникшую проблему. При всей любви и решительности он не мог предусмотреть вероятной необходимости швырнуть в лицо негодяям хрустящие купюры и не сообразил сэкономить в Братиславе ни на черный, ни на светлый день.

О, будь у него денежка, он пошел бы в другую гостиницу и, не предъявляя паспорта, записался бы господином и госпожой Иванофф, и смог бы осуществить наконец свои сумасшедшие стремленья!..

Как мы шли по городу, и какие были у нас остановки, как мы танцевали на пустых улицах и обнимались на виду у темных и ярких окон, как мы прощались и не могли проститься, расходясь и возвращаясь друг к другу, и какие были у нас лица, когда она махнула напоследок лебединой рукой, я передать не смогу.

Скажу одно: не было у нас никаких клятв, никаких условий и договоров, и обещаний писать письма, и заверений о будущих встречах тоже не было.

Все поручалось судьбе.

Театр вернулся домой.

За нашей спиной в город ворвались танки, и "пражская весна" была убита. В те дни у меня появились короткие стихи, которые я приведу в строку, не изменяя прозе, как ступеньку сюжета, потому что в них имелась в виду прежде всего она.

- О, Господи, прости мне Прагу, Прости бессилие и страх, И то, что я костьми не лягу На ленинградских площадях. Прости мне, Господи, поступки, Которых я не совершал. Я был лишь содержимым ступки, Не я толок, не я мешал. О, Господи, прости мне эту Судьбу, не избранную мной, И дай надежду кануть в Лету

С неотягченною душой.

Однако, такой надежды мне дано не было.

В ноябре я получил письмо, написанное в Нормандии, в котором не было ни слова о том, что семья Евреиновых успела пережить вторую эмиграцию и новый исход Ольга испытала на себе.

Обратного адреса на конверте не было.

Тридцать лет я прятал письмо от всякого сглаза так же неизобретательно, как тысячи книжников прячут свои бедные сокровища - записки, фотографии или пару выморочных сотен на крайний случай. Оно было уложено между страницами сборника "Катулл. Тибул. Проперций" и навсегда вошло для меня в состав древнеримской лирики. Вместе с этой главой я возвращаю Ольге часть ее письма, и прошу у нее прощения за это и за все мои другие грехи, вольные и невольные.

"Мой корнет Рильке, - писала она, - ты помнишь ту улицу, где не было неба, потому что были леса и поэтому было тяжело дышать? Это было в старом городе, в нашем заколдованном кругу. Здесь - много неба, и много воздуха, и много духов носится по скалам...

Я знаю, что есть один, один, один - чужак, иностранец на этой земле.

Сейчас я одна в заколдованном кругу - я жду чужака...

Вот что еще расскажу:

Весь август я бродила по Руси. Не во сне, а наяву. По своему - замкнутому - кругу... Стояла у Зимнего и на Фонтанке... Видела утонувшую Лизу. Видела много. Чувствовала пустоту, которая приходит уже потом, после всепонятия...

Вот что еще расскажу:

Третьего дня стояла в Париже перед домом Тургенева. Во мне смешиваются чувство счастья быть опять в Париже с ностальгией, дальней и давней, родившейся еще до меня - праностальгией.

Поэтому я нарушила слово и пишу - впервые посылая - письмо.

Я отключилась от жизни с 9-го марта. Хожу где-то в давности, где мы хорошо знали друг друга и где не было в конце улицы никогда глухих ворот. Там - тогда - не было пятидесяти шагов - до конца. Вот там я хожу с тех пор. Пишу тебе сказки - когда увидимся, буду рассказывать три дня и три ночи.

Я тебе махала не на прощание, а на свидание на Фонтанке, и на площади у Кампы я махала тоже на свидание.

Свидимся, свидимся, должно так быть. Я - кошка из твоего замкнутого круга, знай это".

Но больше мы не увиделись.